

АННА БЕРСЕНЕВА

УРОКИ
ЗАВИСТИ

Анна Берсенева
Уроки зависти
Серия «Подруги с Малой
Бронной», книга 1

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3027915
Берсенева А. Уроки зависти: Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978-5-699-55640-3

Аннотация

Социологам известно, что зависть – самое сильное человеческое чувство. А Люба Маланина знает это не по социологическим исследованиям – по собственной жизни. Ну как ей не завидовать всем и вся? Подруги, с которыми в одном дворе на Малой Бронной выросла, смотрят на Любу свысока. Мужчина, в которого с детства влюблена, относится к ней с обидной покровительственностью. Смириться с тем, что вся жизнь пройдет на вторых ролях, как смирилась с этим ее мама? Но Любу зависть подталкивает совсем к другому решению: полностью свою жизнь переменить. И это ей удастся! Осталось только дожидаться счастья...

Содержание

Часть I	5
Глава 1	5
Глава 2	21
Глава 3	33
Глава 4	44
Глава 5	55
Глава 6	69
Глава 7	82
Глава 8	91
Конец ознакомительного фрагмента.	102

Анна Берсенева

Уроки зависти

Дорогой читатель Митрес!
Я старалась писать свои
книжки так, чтобы мне самой
интересно было их читать.
Пусть будет интересно и
Вам.

т. Со —————
(Анна Берсенева)

Часть I

Глава 1

Ехали-ехали, как медведи, только не на велосипеде, а на серебряной машине, и все никак доехать не могли. А ведь думали, за полчаса доберутся.

– Ну, Сашка, где твое Шахматово? – спросил Федор Ильич.

– Не мое, а Блока, – ответила Александра.

– Блоку хорошо было на коне по таким дорогам скакать, а я подвеску угроблю, – заметил он.

Это было не просто резонно, а очевидно. Даже для Любы, которая про подвеску знать не знала, а только смотрела на Федора Ильича и чувствовала, как сердце ее сжимается от этого счастья – видеть его долго и близко. Так что она-то с радостью ездила бы по лугам хоть до ночи, и ночью ездила бы тоже. Но раз Федор Ильич недоволен, значит, надо найти это Шахматово поскорее.

Проселочная дорога, шедшая через прозрачный лесок, должна была бы именоваться просто бездорожьем. Ее указала продавщица из магазина, расположенного в дощатом вагончике. Вагончик стоял на перекрестке двух таких же проселочных дорог и выглядел в пустынных лугах фантасмаго-

рически – что здесь можно продавать, кому? Непонятно!

На пороге вагончика сидела толстая веснушчатая деваха с сонным взглядом и лузгала семечки. За ее спиной виднелся уставленный бутылками прилавок.

– Шахматово? А вон туда езжайте. – Продавщица лениво махнула рукой прямо в луга. – Как лесочек проедете, так оно вам и будет.

– Странный какой вагончик, – сказала Александра, когда двинулись в указанном девахой направлении. – Как будто здесь когда-то была железная дорога, и он отцепился от поезда, и его забыли в траве.

– Вечно у тебя фантазии на пустом месте. И никакой он не странный, а просто дурацкий, – сердито возразила Кира. – Идиотский. И едем мы куда-то не туда, точно.

– А ты откуда знаешь, что не туда? – спросила Люба.

– Оттуда, что в Шахматово экскурсии должны возить, – объяснила Кира. – На автобусах, надо полагать. И не только летом. А по этому раздолбайству никакой автобус не пройдет, особенно если дождь или снег.

Словно в подтверждение ее слов, машину подбросило так, что у Любы клацнули зубы, и она больно прикусила язык.

Но все-таки по всему похоже было, что едут они правильно: и на карте Шахматово было обозначено именно здесь, в этом квадрате, и таджики, кажется, единственные здешние обитатели, которых они то и дело встречали в пустынных лугах, и теперь вот продавщица, явно местная, – все указывали

именно сюда.

– Смотри, какие здесь рабочие продвинутые, – заметил по поводу таджиков Саня. – По выходным, что ли, усадьбу Блока посещают?

Это было в самом деле странно, но факт: все встречные таджики указывали направление на Шахматово сразу, без запинки.

И теперь оно было уже наконец близко, оставался только вот этот прозрачный лесок, пронизанный августовским солнцем и едва заметными в густой траве тропинками.

– Позарастили стежки-дорожки, где проходили милого ножки, – оглядевшись, пропела Александра. И увлеклась, продолжила: – Позарастили мохом-травой, где мы гуляли, милый, с тобою!

Голос у нее был красоты неземной, и песня звучала задумчиво, хотя, Люба точно знала, никакой душевности в Сашке не было и помину. Она была капризная, непредсказуемая и любила на всем белом свете только себя. Но при таких чертах характера, которые не считала нужным даже скрывать, почему-то вызывала безусловную и всеобщую любовь. И добро бы у мужчин – это, учитывая Сашкину красоту, было хотя бы понятно. Но ведь и у всех живых существ, включая уличных кошек и домашних канареек, вот же в чем загадка!

– Птички-певуны, правду скажите, весть про милого вы принесите, – легко подхватил Саня. – Где милый скрылся,

где пропадает? Бедное сердце плачет-страдает!

Что собой в смысле душевности представляет этот Саня, Люба не знала: Сашка только сегодня утром привезла его на дачу и познакомила со всеми. Но вместе ее звонкое сопрано и его негромкий баритон звучали с таким пронзительным чувством, что хоть зарыдай в голос. Люба, во всяком случае, и впрямь шмыгнула носом – потихоньку, конечно, чтобы никто не услышал и не заметил.

Ладно она с ее сермяжными корнями, но эти-то оба откуда такие песни знают? Если и пели за деревенской околицей какие-нибудь их предки, то очень далекие.

«Училась бы я в консе, тоже бы так умела! – сердито подумала Люба. – Что особенного?»

Но в консерватории она, в отличие от Сашки и Сани, не училась, и не на что ей было сердиться.

Прекрасные голоса вырывались в открытые окна машины, пронизывали воздух, сливались с голосами птиц, перелетающих над стежками-дорожками.

– Ну вы даете! – сказал Федор Ильич, когда песня закончилась. – Чуть не зарыдал, честное слово.

Вот он-то, в отличие от Любы, ничего в себе никогда не скрывал и не стеснялся. Одно слово, Царь.

– Ты, Царь, чем рыдать, на дорогу лучше смотри, – командовала Кира. – Проедем сейчас какой-нибудь поворот, вовек потом это Шахматово не найдем. Далось оно вам!

Но проехать поворот они не смогли бы, даже если бы и за-

хотели: никаких поворотов больше не было. Выйдя из лесу, сомнительная дорога закончилась вовсе, уперевшись в дачный поселок.

Старых домов в этом поселке не было, а были только совсем новые. На многих участках дома возводились как раз сейчас, и на каждой такой стройке работали таджики.

– Не подскажите, Шахматово где? – крикнул в окно машины Федор Ильич.

– Это Шахматово! – махнув прямо вниз, крикнул ему в ответ смуглый строитель, сидящий на стропилах крыши.

– Что значит – это? – возмутилась Кира.

– Царь, узнай толком, – распорядилась Александра.

Но Федор Ильич и без ее распоряжения уже выходил из машины.

– Так и знала, что ничего не найдем, – сердилась Кира, пока он разговаривал с таджиками; никаких местных уроженцев в обозримом пространстве не наблюдалось. – А все твои фантазии дурацкие, Сашка!

– Кирка, хватит нудить, – отмахнулась Александра. – На филфаке, между прочим, ты учишься, а не я. Так что Шахматово тебя должно больше интересовать. И как мы можем его не найти, если оно на карте нарисовано? Я своими глазами карту утром смотрела, Федька подтвердит.

– По-твоему, это оно и есть? – съехидничала Кира. – Сейчас таджики позовут Александра Александровича с Любовью Дмитриевной! Смотри, не прозевай.

Саня в их беседу не вмешивался – наверное, потому что в качестве гостя готов был ехать куда везут, а Люба – потому что ждала, когда вернется Федор Ильич, и, кроме этого, ее ничего не интересовало.

– Это действительно Шахматово, – сообщил он, подходя к машине. – Они точно знают, второй год здесь работают. Про Блока понятия не имеют.

– Бред какой-то! – фыркнула Кира.

Огляделись. Кругом простирались все те же луга. Ни души не было на просторах, которые они только что проехали насквозь. Никаких усадеб, кроме вот этих недостроенных домов, в обозримом пространстве тоже не было и помину.

Александра прошла метров пятьдесят вперед и, обойдя вокруг, прочитала надпись на стоящей у дороги табличке, которую никто не заметил раньше.

– Точно – Шахматово! – крикнула она. – Так и написано. Можете сами посмотреть.

– Такое только у нас возможно! – Кира кипела от возмущения. – Чтобы на карте одно, а на местности совсем другое!

– Кстати, – сказал Федор Ильич, – посмотрю-ка я карту еще раз. Дома-то ее только Сашка изучала.

Он развернул на коленях карту и через три минуты сообщил:

– Это действительно Шахматово. Только не то.

– Что значит – не то? – хмыкнула Кира. – Мы что, в противоположную сторону ехали? Да хоть бы и в противополож-

ную! Сколько Шахматовых может быть в радиусе каких-нибудь тридцати километров?

— Два, — ответил Федор Ильич. — Одно вот это, а второе, надо полагать, блоковское. На расстоянии тридцати километров друг от друга. Вот они оба, можешь убедиться. — Он протянул Кире развернутую карту. — Если бы я вчера сам внимательнее посмотрел, то оба и обнаружил бы. Не ездили бы зря.

— И что, при Блоке тоже так было? — поинтересовался Саян.

В его голосе не звучало ни малейшего удивления тем, что почти рядом находятся два населенных пункта с одинаковыми названиями.

— При Блоке — не знаю, а теперь так, — ответил Федор Ильич. — Чтобы попасть в то Шахматово, надо было с Ленинградки не на Шахматово сворачивать, а на Тараканово и потом искать указатель на Боблово.

— Они в своем вообще уме?! — воскликнула Кира. — Кто это может догадаться, что вместо Шахматова надо сворачивать на какое-то никому не известное Тараканово?!

— Тараканово вообще-то тоже известное, — пожала плечами Александра. — Там Блок с Любой Менделеевой венчался.

— Ну и ищи свое Тараканово! — сердито сказала Кира. — Мы-то при чем? Целый день кружили, все почки отбили на ухабах, и без всякого результата!

— Кирка все делает только с полезной целью, — обернув-

шись к Сане, безмятежным тоном объяснила Сашка. – И от любого своего действия непременно ожидает результата.

– И, заметь, если я действую так, как сама считаю нужным, то мои ожидания никогда не оказываются напрасными, – уточнила Кира.

– Но вот сегодня оказались же! – засмеялась Сашка.

– Потому что сегодня я послушалась тебя!

– И прекрасно провела день.

Александра привыкла, чтобы последнее слово оставалось за ней. Кира тоже к этому привыкла, но ее железная самоуверенность все же проигрывала Сашкиному воздушному легкомыслию.

Люба видела Киру с Сашкой насквозь. Конечно, она часто на них сердилась и привычно им завидовала, но от того, что она знала их как себя, притом знала всю жизнь, и они всю жизнь ее знали, – от этого ей было с ними так легко, как ни с кем другим никогда не бывало.

Но вот Федора Ильича она тоже ведь знала всю жизнь, однако вместо легкости испытывала в его присутствии только пугающий восторг и смятенное ожидание. Хотя чего ей вообще-то было ожидать от Федора Ильича? Только покровительства, ну так оно и так есть и всегда наличествовало в неизменном виде.

Люба вздохнула. Покровительство со стороны Федора Ильича ее категорически не устраивало.

Пока обсуждали, что делать с не тем Шахматовым и стоит

ли искать то, все успели выбраться из машины.

– Едем в наше Шахматово, – решил Федор Ильич.

Видимо, он понял, что обсуждение затянулось и вот-вот приведет к тому, что горе-путешественники растворятся в лугах.

– Наше – это какое? – завелась было упрямая Кира. – То, где стройка?

– Кирка, не начинай, – тут же остановил ее Федор Ильич. – И от машины не удаляйся. Усаживайтесь, поехали к Блоку.

Кира снова села впереди, рядом с Царем, хотя для нее точно не имело значения, с ним она рядом или с кем-то другим. Даже не спросила – может, кто-нибудь другой вперед хочет! Хотя к чему пустые расспросы? Сашка пригласила Саню, значит, с ним и сядет рядом на заднем сиденье. А Любу и спрашивать не обязательно: не тот она человек, который принимает решение, во всяком случае, если есть кому его принять, кроме нее, и к этому все тоже привыкли с детства.

Стоило Федору Ильичу сказать, чтобы все усаживались, и все сразу оказались на своих местах. Он-то как раз был тем человеком, который принимает решение при любом составе компании. Своих решений Царь никогда никому не навязывал, но все сами подчинялись ему с охотой; эта его способность была такой же данностью, как Сашкино обаяние.

Еще когда все они только в первый класс пошли, Любина мама говорила, что Федя Кузнецов будет крупным руководителем, и Люба была с ней согласна. Кем же еще ему быть

и кому же быть крупным руководителем, если не ему? Когда он выбрал в МГУ математический факультет, все даже удивились, потому что было не очень понятно, чем может руководить математик, а по мужской линии все в семье Кузнецовых чем-нибудь руководили. Его отец был главным врачом Боткинской больницы, а прапрадед так даже экономическим министром при последнем царе или не министром, но кем-то вроде.

Должность прапрадеда в соединении с личными качествами Феди Кузнецова и породила прозвище Царь. И Федором Ильичом его называли тоже из-за особенных личных качеств. Вот этих самых, благодаря которым именно он сейчас решил, ехать им на поиски Шахматова или возвращаться домой.

Сашка, затеявшая всю эту бестолковую поездку, тем временем болтала с Саней, сидящим на заднем сиденье между нею и Любой. Никаких угрызений совести она при этом явно не испытывала; кто бы сомневался!

– И ты представь, что она мне заявляет вчера на вокзале? – особенно не прислушиваясь, все же слышала Люба. – Ты, говорит, Александра, ежедневно должна Бога благодарить за то, что он дал тебе голос. Каждое утро – лбом в пол и благодари. Потому что, говорит, на свете миллионы людей, которые и хотели бы как-то себя выразить, да им нечем, а тебе Бог дал, чем себя выражать, вот и благодари его по гроб жизни лбом об пол за две связочки у тебя в горле.

– Интересная теория, – заметил Саня.

– Я всегда знала, что Тамонникова сумасшедшая! – Сашкин смех сверкнул, как солнечные блики, прыгающие по сиденьям. – Неистовая прелесть. Я ее, конечно, люблю, но лоб у меня не для поклонов.

Скосив взгляд, Люба увидела темные веселые Сашкины глаза и затылок глядящего на нее кавалера.

Всех Сашкиных многочисленных поклонников именovala кавалерами Любина мама. Ей просто слово это нравилось, потому что любимой ее книгой была «Манон Леско» и любимым персонажем, соответственно, кавалер де Грие.

Когда Любе было четырнадцать лет и все связанное со взрослыми вообще и с мамой в частности вызывало у нее раздражение и злость, она поинтересовалась, читала ли та хоть одну книгу, кроме этой своей «Манон».

– Не читала, ну и что? – пожала плечами мама. – Я и не понимаю, зачем было другие писать, когда эта есть.

Очередной Сашкин кавалер отличался разве что берущим за душу голосом. В остальном он выглядел точной копией прежних: смотрит на Сашку не отрываясь и соглашается со всеми глупостями, которые без малейших сомнений слетают с ее языка.

– Да и Богу вряд ли необходимо, чтобы ты об пол колотилась, – сказал он. И, повернувшись к Любе, спросил: – Ты бы стала лбом стучать, если бы у тебя голос был?

– Не стала бы, – ответила она. – Что у меня от этого голоса

прибавилось бы?

– Жаннетта у нас мыслит исключительно утилитарно, – засмеялась Сашка. – Но в отличие от Кирки цели у нее куда менее масштабные.

– Жаннетта? – удивился Саня. – Мне показалось, тебя как-то иначе зовут.

Хоть Сашкин кавалер и был Любе безразличен, но все-таки ее уязвило, что он даже имени ее не запомнил, хотя целый день, можно сказать, бок о бок с ней провел.

– Да, она Жаннетта, – с удовольствием повторила Сашка. – Два «н» и два «т».

Имя было Любиным проклятием. Мама назвала ее в соответствии со своими представлениями о прекрасном и, сообщая кому бы то ни было, как зовут ее дочку, всегда уточняла:

– Не Жанна, а Жаннетта. Два «н» и два «т».

Сашка впервые услышала это почти двадцать лет назад, когда они пошли в детский сад – до этого она была уверена, что Любу зовут Любой, – и с тех пор считала нужным объявлять ее настоящее имя всем, кто об этом просил и не просил. Сама Люба уж точно ее об этом не просила.

– А ты бы, Александра, не лезла, когда тебя не просят, – обернувшись с переднего сиденья, заметила Кира.

Когда жесткая прямота не требовалась для дела, Кира была тактична. В отличие от Александры, которая бывала тактичной или бестактной и вообще доброй или злой только в зависимости от собственного настроения.

– А что особенного? – пожал плечами Саня. – Обыкновенное имя. У моего друга бабушку Электростанцией зовут, и ничего.

И то, что он не нашел в Любе ничего особенного и что сравнил с какой-то бабушкой, – все это ее уязвило тоже.

Пока разбирались с Любиным именем, машина снова вышла на Ленинградское шоссе, потом свернула на узкую, но все же заасфальтированную дорогу, ведущую в Тараканово, и наконец подъехала к перекрестку, на котором имелся указатель на Боблово.

– Ой! – почему-то обрадовалась Александра. – Это же Боблово! То самое!

– То самое – это какое? – язвительно поинтересовалась Кира.

– Где Люба Менделеева жила!

– А также создатель Периодической системы, – напомнил Федор Ильич.

– Но главная – она! – заявила Александра.

«Считает, что сама на Любу Менделееву похожа», – догадалась Люба.

Луга здесь, на дороге между Бобловым и тем самым Шахматовым, были точно такие же, как возле не того самого Шахматова, – тихие и прекрасные в своем однообразии. Дневная жара спала, и они полны были вечерним покоем, как реки водою, и кузнечики стрекотали в траве.

– А шахматовская въездная аллея состояла из лирных бе-

рез, – задумчиво проговорила Александра.

– Что такое лирные березы? – спросил Саня.

– Вот мне и хотелось посмотреть, – ответила она.

Из-за лирных берез, выходит, она и затеяла всю эту бес-толковую поездку.

Пока выбирались из машины, выяснилось, что Алек-сандра желала также повидать куртину шиповника и ка-кую-то тургеневскую калитку, через которую можно было выйти из сада к пруду. А при чем Тургенев, если в Шахма-тове Блок жил? За эту непонятную калитку Люба особенно на Сашку сердилась.

Никакой въездной аллеи по дороге к усадебному дому не обнаружилось. Берез было всего несколько, а лирные они или какие-нибудь другие и росли ли здесь при Блоке, понять было невозможно.

Куст шиповника, правда, действительно рос посреди дво-ра перед неказистым флигелем, но вряд ли этот одинокий куст мог считаться куртиной.

Любе почему-то было обидно до слез. От того, что она не понимала, на что обижается, слезы так и просились у нее из глаз, и глаза делались от этого еще более узкими, чем обыч-но.

«Слезки на колесках» – так мама говорила, когда малень-кая Жаннетта собиралась плакать. И напоминала, что глаза у нее от слез в щелки превратятся, и тогда все будут ее драз-нить.

Во дворе все, кому не лень, Жаннетту в детстве и так дразнили за ее узкие глаза. Пока Федор Ильич не надавал по шее особо наглому Борьке Ужанкову; после этого дразнилки прекратились.

«Еще не хватало не пойми от чего перед всеми разреветься!» – сердито подумала Люба.

Она замедлила шаг, чтобы приотстать от всех и успокоиться. Унимать свои эмоции она умела быстро – дороги до усадебного дома должно было для этого вполне хватить.

Александра летела впереди всех, срывала колокольчики-ромашки и прямо на ходу плела из них венки.

Федор Ильич шел сразу вслед за ней и смотрел, как она летит, и слушал, как она поет.

Где был при этом Сашкин кавалер, Люба не знала. Ей было достаточно, что Федор Ильич любит Сашку. Хотя она и видела только его спину, но точно знала, что любит.

Кира шла позади всех – ага, вот как раз с Сашкиным кавалером и шла, беседуя. Люба обернулась и увидела обоих. Кира была не то чтобы толстая, но все же довольно тяжело-весная и всяких подвижных игр с детства не любила, потому сейчас и отстала. Ну а кавалер, наверное, отстал потому, что рассердился на Сашку, которая вдруг перестала обращать на него внимание.

– Ну, и зачем мы ехали? – громко и возмущенно произнесла Кира. – Дома-то нет!

– Кого дома нет? – усмехнулся Саня. – Блока?

Кира не только говорила, но и смотрела возмущенно, а он смотрел насмешливо.

– Не Блока, а просто никакого дома нет, – объяснила Кира.

Обстоятельность мешала ей понимать даже самый незамысловатый юмор.

Но усадебного дома действительно не было. Он только строился – вернее, только что был построен, и его как раз обшивали тесом.

– Стройка совсем как в предыдущем Шахматове, – заметил Федор Ильич.

В отличие от Сани он произнес это без всякой иронии, просто констатировал факт, сочувственно при этом глядя на расстроенное Сашкино лицо.

Сочувственное выражение его лица, когда он смотрит на Сашку, – это было для Любы уже слишком. Она замедлила шаг – так, чтобы Кира с Саней ее обогнали, – и, стараясь ступать потише, свернула с центральной аллеи в сторону, в заросли, которые, наверное, раньше были усадебным садом.

Впрочем, ступать потише она могла бы и не стараться: ее исчезновения и так никто не заметил.

Глава 2

– Как это все-таки странно!

Лунные блики плясали в листьях девичьего винограда, увивающего веранду, в Сашкиных глазах, в завитках ее волос. Темные глаза, в которых пляшет лунный свет, да еще в сочетании со светлыми локонами производили завораживающее впечатление даже на Любу. Что уж говорить про Федора Ильича! Люба старалась не смотреть в его сторону, хотя в полумраке лунной ночи, может, и не разглядела бы толком, какое на его лице выражение.

– Что странно, Саш? – спросил Саня.

– Что все это, оказывается, было так близко. «Леса, поляны, и проселки, и шоссе, наша русская дорога, наши русские туманы, наши шелесты в овсе...» Все это, оказывается, не где-то, а прямо здесь, понимаете? Прямо рядом с нашей дачей!

Она сердилась, что никто ее не понимает. А сама же виновата – объясни понятно.

– А ты думала, Шахматово в Сибири? – пожала плечами Кира. – Конечно, рядом. От Москвы сорок минут.

– Мне казалось, Блок все это про какую-то очень глубокую Россию писал, – проговорила Александра. – И про какую-то очень давнюю. Мне казалось, что я ее никогда не увижу.

– Да вон она, за забором. Любуйся, – усмехнулась Кира. –

Вчера на речке россияне свадьбу праздновали – сегодня к берегу не подойти, битые стекла кругом.

– Так я же и говорю! – воскликнула Александра. – Сейчас, здесь – ведь совсем другое все, вот именно же! Потому я и думала, что той России вообще никогда и нигде не увижу.

– Можно подумать, в Шахматове ты сегодня что-то принципиально иное увидела, – хмыкнула Кира. – Обычный новострой на блоковскую тему. Могла бы к Горяиновым на участок сходить посмотреть. У них, кстати, и шиповник погуще.

– Кир, в Шахматове все-таки не совсем новострой, – возразил Федор Ильич. – Люди пытаются что-то человеческое восстановить. Достойно уважения.

– Да я же не говорю, что недостойно... – пошла на попятный Кира.

С Федором Ильичом трудно было спорить даже при ее самоуверенности. Он ничего не говорил попусту.

Любина обида давно прошла. Теперь ей было просто грустно. И правда, что это она вдруг вздумала обижаться на весь белый свет? Разве Федор Ильич когда-нибудь относился к ней иначе, чем с обычным расположением, с которым относится он ко всем, кто нуждается в защите? Ну, насчет защиты Царь, положим, теперь уже ошибается: Любины слезы из-за мальчишеских дразнилок давно остались в прошлом, и давать отпор она давно уже умеет. Но ни на что, кроме дружеского расположения с его стороны, рассчитывать по-прежнему не может.

К себе в Кофельцы вернулись поздно, когда сумерки уже были не голубыми, а темно-синими. Хорошо, что Люба еще днем все купила к ужину: хоть Сашка и уверяла, что они едут часика на два, не больше, только посмотреть, что за Шахматово такое, – Люба как чувствовала, что к их возвращению деревенский магазин будет уже закрыт.

Ужинать решили у Сашки. Веранда на половине дома, отведенной Иваровским, была самая большая, и если они приезжали в Кофельцы в отсутствие родителей с их вечными перемещениями от одной дачи к другой, то на этой веранде всегда и собирались.

С дороги все устали, и желания готовить никто не выказал. Развели костер на обычном своем месте, у самого дома, в кругу, образованном пятью соснами, напекли картошки, сварили сосиски и намыли полную миску помидоров с огурцами. И в семье у Киры Тенеты, и у Иваровских принято было готовить вкусно и много, да и Люба умела накрыть стол, за который не стыдно пригласить самых взыскательных гостей, но если можно было не тратить времени на приготовление пищи, то никто его и не тратил. А Саня пусть в качестве гостя подстраивается под обычаи хозяев.

Впрочем, недовольства спартанским ужином, он же обед, не выразил и Саня – наворачивал вместе со всеми огурцы с картошкой и вместе со всеми разговаривал про туманы и шелесты, запивая разговор вином. Вина, правда, нашлось всего две бутылки, да и то кислого до оскомины «Рислинга».

На дачу-то приехали еще вчера и еще до поездки к Блоку уничтожили все, что привезли с собой, а в кофельцевском магазине имелась в наличии одна только водка неизвестного происхождения, которую брать не стали.

Люба сидела в том углу веранды, куда не падал свет. Ее в темноте никто не видел, а перед нею все были как на большой лунной ладони. Да она и без света могла представить себе их всех и даже Саню, хотя его видела всего один день. Зрительная память была у нее хорошая – не такая, как у художников, а цепкая, какая бывает у людей, которым ничего в жизни не дается само собою, по праву рождения или вследствие особой удачливости. Ни того, ни другого судьба ей не отпустила, приходилось самой заботиться о своем благополучии, а для этого память была совсем нелишней, как и способность быстро соображать, которой Люба тоже была наделена в полной мере.

– Какое сегодня число? – вдруг спросила Александра.

Ответили не сразу – даже заспорили, пока Царь не назвал точно: двенадцатое августа.

– Значит, сегодня над Землей пролетают Персеиды! – провозгласила Александра. – Поток метеоров. Или метеоритов? Неважно! Главное, всю ночь будет звездопад.

– В августе всегда звездопад, – пожала плечами Кира. – Никаких Персеид и никаких особенных ночей для этого не надо.

– Ты, Кирка, просто соня и в небо смотреть не хочешь, по-

тому что это неконструктивно, — махнула рукой Александра.

— Нет, ну если прямо отсюда, с веранды, а не ехать за тридевять земель, то почему не посмотреть? — милостиво согласилась Кира.

Так они и сидели теперь, время от времени поглядывая на небо. Звезды держались крепко и падать не собирались. Общий разговор перелетал с одной темы на другую с ночной легкостью.

Сидя в своем темном углу, у самых ступенек, Люба прислушивалась к их разговору рассеяннo, потому что думала о другом.

Она хотела переменить свою жизнь. В одном из ярких журналов, которые продавались теперь в бывших киосках «Союзпечати», было написано, что именно с этого желания и начинаются самые большие свершения. Денег на дорогие журналы у Любы, конечно, не было, но Иваровские и Тенета покупали их время от времени, а прочитав, не хранили — отдавали Любиной маме, и та приносила их домой.

Да, так вот: собственная жизнь надоела Любе до чертиков, и совершенно очевидно было, что пора ее менять. А если не менять, значит, надо смириться с тем, что проживешь всю свою единственную и неповторимую жизнь так, как мама.

Смириться с этим Люба не согласилась бы ни за какие коврижки. Но что может означать в ее жизни само даже слово «перемены», понять не могла, как ни старалась.

— Вот я недавно читала, что в Японии в восемнадцатом

веке было такое понятие «ики», – донесся до нее Кирин голос. – Это значит – чувство стиля. Но не то, что наша стильность, а в том смысле, что нельзя быть прямолинейным. В одежде, в словах и в мыслях. По-моему, это глупо.

– И совсем не глупо, – возразила Александра. – Просто для тебя прямолинейность – это достоинство, вот ты и не понимаешь, как ее можно считать недостатком.

– А ее и нельзя считать недостатком, – хмыкнула Кира. – Да, я не понимаю, какое уж такое достоинство в том, чтобы человек тебе врал!

– Ну почему обязательно врал? – пожала плечами Александра.

– Потому что непрямолинейность в словах – это и есть вранье, – отчеканила Кира. – Или вот, например, непрямолинейность в одежде. У них там в древней Японии считалось особым шиком купить самое простое пальто, а подкладку на него поставить из самого дорогого шелка и вдобавок самому дорогому художнику отдать, чтобы он вручную эту подкладку расписал. По-твоему, это умно?

– По-моему, это красиво, – ответила Александра.

– А по-моему, это дешевая рисовка и больше ничего, – снова отрубил Кира.

– Пальто с расписной подкладкой, может быть, и рисовка. Понты, проще говоря, – заметил Федор Ильич. Люба прислушалась повнимательнее. – Но это ведь не единственное. Я про японскую философию тоже читал. Там, например, есть

такое понятие – скрытое очарование вещей. Это значит, что человек одновременно и любит красоту внешнего мира, и понимает иллюзорность всего, что может быть проявлено внешне.

– Не понимаю, Царь, как ты, при твоём-то здравом уме, придаешь значение таким отвлеченностям, – фыркнула Кира.

Она была отличница и уж что-что, а умно выражаться умела в совершенстве. Федору Ильичу такого умения тоже было не занимать, так что они отлично понимали друг друга.

– Это не отвлеченности, а основополагания, по которым живут народы, – сказал он. – С ними нельзя не считаться.

Люба вздохнула. Она-то как раз не очень понимала, о чем они говорят, а главное, зачем им надо говорить об этом.

«Одним своим желанием жизнь не изменишь. – Люба перестала слушать чужой разговор, отвернулась от спорщиков и снова нырнула в собственные мысли. – Ну да, надоело вечно чувствовать себя на вторых ролях. Да что там на вторых – вообще ни на каких. И что с этим делать? В институт после училища поступить? Но в какой институт, если ни в какой не хочется? Поступить-то, может, куда-нибудь и поступлю, даже точно поступлю – маме только скажи, она всех на ноги поднимет, и кто-нибудь поможет обязательно, хоть те же Иваровские или Тенета... Черт, опять все то же самое! – рассердилась она. – Опять все возвращается к тому, что унижаться придется, просить!»

И хотя трудно было представить, чтобы Сашкины или Кирины родители потребовали от Любы или ее мамы унижения, но вот ведь самим Сашке и Кире никого не пришлось просить, чтобы им помогли, – само собой разумелось, что после школы они будут поступать и поступят; так оно и вышло. А для Любы это не разумеется само собой и потребует отдельных чьих-то усилий. И, значит, поступление в институт никакой переменной жизни для нее не станет, а просто в очередной раз выяснится, что добрым людям надо помочь уборщицыной дочке.

Никаких у нее не вырисовывалось планов, одни мечтания. И от того, что мечтания не облекались ни во что конкретное, Люба испытывала не какое-нибудь новое, а самое для себя привычное чувство – уязвленность.

На освещенной части веранды тем временем разговаривали уже не о японских художествах, а о чем-то другом.

– Способность человека к риску не является ни достоинством, ни недостатком, – сказал Царь. – Это просто та или иная комбинация гормонов.

– Очень даже является недостатком, – не согласилась Кира. – Привязаться резинкой за ногу и прыгать вниз головой с моста могут только идиоты.

– Что рискованного в том, чтобы с тарзанки прыгать? – заметил Федор Ильич. – Развлечение абсолютно безопасное. Значит, это не риск, а просто искусственный вброс адреналина.

Сашки и Сани слышно не было. Может, им было не до разговоров, потому что они пожимали друг другу ручки под дощатым столом или даже целовались, выбравшись из освещенного луной круга. Люба на их месте так бы и делала.

Нет, все-таки они не целовались – Люба услышала Санин голос.

– Без способности к риску жизнь не имеет смысла, – сказал он.

– К разумному риску, – уточнила Кира. – Разумный, я согласна, может потребоваться для достижения целей. Но риск как таковой...

– К любому, – перебил ее Саня.

Люба обернулась, всмотрелась в спорщиков. Кирка, как обычно, выглядела растрепанной, ее короткие рыжеватые волосы торчали во все стороны, как перья у курицы. Сашкины кудри под луной сияли серебром. Саня тоже вроде был русый, как она, но в отличие от Сашкиной его голова в лунных лучах казалась не светлой, а темной. Наверное, волосы не шелковистые, как у нее, а жесткие.

«Если бы я мысли так же схватывала, как внешность, то уже давно бы гением была», – с досадой на себя подумала Люба.

Да, жизнь не наградила ее ни единым полезным дарованием. Умение шить невозможно было считать ни дарованием, ни тем более наградой.

– Нельзя жить без способности к риску, – повторил Са-

ня. – И не то что нельзя, а невозможно. Если мы себя отдаем чему-то или кому-то, то уже рискуем собой. А если отдавать себя не умеем, то ничего у нас в жизни и не получится.

Кажется, на этот раз не только Люба, но и все остальные не поняли, о чем он говорит. Или, по крайней мере, не совсем поняли.

– Ну-у... – протянула Кира. – Это как-то слишком заумно.

– Надо же! – Александра рассмеялась. – А я уж и не надеялась когда-нибудь услышать от Кирки признание в том, что она чего-то не понимает. Поздравляю, Санечка, это твоя заслуга!

Серебряный Сашкин смех прозвенел так, словно это лунные лучи закачались от едва ощутимого ночного ветра и коснулись друг друга, как трубочки китайского колокольчика.

Смеясь, Сашка подмигнула Сане, ведь это именно он щелкнул Кирку по носу. Правда, Любе показалось, что он вовсе не собирался этого делать, но важно ведь не намерение, а результат; так она думала.

– Ну, и где твои Персеиды? – Кира демонстративно зевнула. – Два часа ночи, между прочим. Спать пора. Правда, Царь?

– Пора, – сказал Федор Ильич, вставая. – Я завтра в восемь уезжаю. То есть сегодня уже. Кому в Москву надо, могу захватить.

Он прекращал глупые споры не словами даже, а самим фактом своего существования.

– Мне надо, но я не поеду, – ответила Александра.

Наверное, она ожидала, что ее начнут расспрашивать о смысле этой дурацкой фразы. Но к Сашкиным парадоксам все привыкли, и никто на них особого внимания уже не обращал.

– Маму мою отвези, – сказала Кира. – Она завтра точно поедет. – И разъяснила: – Послезавтра отец из Коктебеля возвращается, маман торжественный прием будет организовывать.

Фанатичное отношение Кириной мамы к своему мужу было всем известно. Окружающие воспринимали его в диапазоне от восхищения до недоумения или даже оторопи.

– Я вам утром в окно стукну, – кивнул Федор Ильич. – Ты ее заранее разбуди только.

Все встали, задвигались. В темноте кто-то столкнул со стола бокал, он покатился по доскам покосившейся веранды, упал на камень у крыльца и разбился с тоненьким звоном. Будь Люба одна, конечно, убрала бы осколки, тем более из-под самых ступенек. Но раз никто не собирается этого делать, что ей, больше всех надо? Они будут про всякие японские штучки рассуждать, а она стекло битое мести? Нет уж.

Кира спустилась с веранды и свернула за угол. Там был вход на другую половину дома, которую занимало семейство Тенета.

Дом, в котором жил Федор Ильич, стоял неподалеку, за сосновым кругом, где разводили костер.

«А вдруг Царь у Сашки останется?» – мелькнуло у Любы в голове.

Она вздрогнула от такого предположения, и все-таки на секунду ей стало интересно: как же они тогда с Саней будут разбираться?

Но на даче Иваровских Царь не остался. Он пошел по заросшей травой тропинке к своему дому – высокий, широкоплечий и даже издалека такой красивый, что сердце у Любы сжималось, когда она смотрела ему вслед. Прямо как у брошенной девушки в песне про стежки-дорожки.

– Пойдем, покажу твою комнату, – глядя на Саню поблескивающими глазами, сказала Сашка.

– Пойдем.

Глаза у него тоже блеснули, хотя и совсем иначе, чем у нее: не дразнящее обещание было в них, а... Непонятно, что в них было! Вернее, Любе просто неинтересно было в этом разбираться.

Глава 3

Саня с Сашкой ушли в дом. Люба посидела еще немного – пусть улягутся. Можно подумать, Сашка и правда его в какую-то отдельную комнату поведет! Уж она, Люба, если бы пригласила парня в гости с ночевкой, то не лицемерила бы, сразу в свою кровать и отвела бы. Ну да и Сашка не из лицемеров – разберется.

Дождавшись, пока в доме смолкнут шаги и шорохи, Люба тоже пошла к себе. Ее комнатка находилась под самой крышей. Александра называла ее мансардой, на парижский манер, хотя на самом деле это был самый обыкновенный чердак, обшитый вагонкой.

Собственно, это была не лично Любина, а просто гостевая комната, но поскольку Люба была на даче Иваровских чем-то средним между очень частым гостем и постоянным обитателем, то можно было считать, что мансарда принадлежит ей.

Дачный поселок Кофельцы построили сразу после войны для Академии наук, но не для самих академиков, а для сотрудников академических институтов. Первые кофельцевские жители были историками, филологами, географами и этнографами. С тех пор все, конечно, переменилось, перемешалось, но людей совсем уж чужеродных в дачном поселке, как ни странно, не завелось.

Постоянство жизни проявлялось среди прочего и в том, что дома, выстроенные сорок лет назад, ни разу капитально не ремонтировались. В восемьдесят пятом году пошел слух, что на кофельцевских дачах будто бы грядет ремонт, но тут началась перестройка, а после нее никому не стало дела даже до самой Академии наук, а уж тем более до академических потомков, которым принадлежали теперь дачные дома.

Да, кстати, дома вообще-то и не принадлежали своим жильцам, а всего лишь сдавались им в аренду, и было непонятно даже, какой станет арендная плата, кому ее надо будет платить, и слухи ходили теперь такие, что никакой арендной платы вообще не потребуется, потому что академия вот-вот начнет избавляться от лишнего имущества, и Кофельцы продадут какому-нибудь новоявленному капиталисту, так как расположены они в живописном месте – старый сосновый парк на холме, река, монастырь за рекою...

Ну да Люба об этом сейчас не думала. Что ей до чужих дач, пусть даже и прошло на них детство и первая юность, но что ей до них, когда собственная жизнь не вызывает ничего, кроме досады?

«Царь меня никогда не полюбит. – Впервые эта мысль прозвучала у нее в голове не вопросительно и тихо, а громко и отчетливо, как литавры. – Никогда! Я для него чужого поля ягода, и что он знает меня с рождения, ничего не значит, и, даже если я хоть сто институтов окончу, ничего не изменится. Все равно я не смогу разговаривать с ним ни про Блока,

ни про японскую философию, ни про другое такое же, потому что мне все это ни интересно, ни хотя бы понятно никогда не будет. И ночь не спать ради каких-то Персеид мне тоже никогда не захочется. Я такая, как есть, и он такой, как есть, и ничего с этим не поделаешь!»

Догадка эта ударила ее как молния. Странно, что это случилось только теперь: Люба влюблена была в Федора Ильича столько лет, сколько его знала, вернее, осознавала его существование, и забота о том, как бы ему понравиться, столько же лет ее точила.

Новизна догадки некстати взбудрила ее, напрочь прогнала сон.

Люба сбросила одеяло, встала, распахнула окно. Прохладный воздух большим шаром вкатился в комнату, накалившую дневной жарой.

Она перевесилась через подоконник, покрутила головой, охлаждая пылающие щеки. Ночная тьма была такой плотной, что казалось, ее рукой можно потрогать. Звезды сияли на темном небе неподвижно и остро.

Она выбралась из этой плотной тьмы обратно в комнату, оглянулась. Тускло поблескивало зеркало на противоположной стене мансарды. В зеркале Люба отражалась вся, и тоска ее, наверное, отражалась тоже.

«Ведь я совсем даже ничего себе. – Она подошла поближе к зеркалу, остановилась прямо перед ним, вглядываясь в свое отражение. – Конечно, не красавица, как Сашка, но все-

таки внешность оригинальная. И что мама у меня не академик, это не суть, уж для Царя точно – он без предрассудков. Но... Но что же тогда?»

Она смотрела на свое пылающее лицо – даже в темноте было заметно, как алеют от волнения высокие скулы и глаза поблескивают тревожными узкими лепестками. Оригинально, оригинально, что и говорить. Есть даже что-то от японки – вот вам к вашим японским разговорам! – только не от настоящей японки – Люба видела настоящих японок только по телевизору, и все они были какие-то некрасивые, – а от такой, каких рисуют на старинных картинках, где каждое лицо – утонченное произведение искусства.

Бабушка Киры Тенеты была востоковедом, и когда Любина мама ходила к ней убираться и брала с собой маленькую дочку, то Люба всегда рассматривала японские картинки и всегда находила на них себя. Может, конечно, она и фантазировала на свой счет, но некоторое сходство имелось, этого нельзя было отрицать.

Да, ничего в ее внешности не было такого, во что категорически невозможно было бы влюбиться. И вот Женька Смирнов говорил же, что фигура у нее сексапильная. Вспомнив Женьку Смирнова, Люба, впрочем, поежилась: очень уж обыденно, будто само собой разумеется, обнял он ее вечером у подъезда... Она тогда поздно возвращалась из школы после кружка спортивных танцев – с пятого класса занималась, – а Женька поджидал ее у выхода из арки и обнял

с какой-то необъяснимой уверенностью. Ну да почему же с необъяснимой? Она ведь не оттолкнула его, а дала себя поцеловать, а когда он повел ее к себе домой – его родители были в отъезде, – то и все ему дала с такой же дурацкой покорностью... И очень все это было объяснимо: не надеялась, что привлечет внимание парня более интересного, чем прыщавый Женька. Как выяснилось, правильно, что не надеялась: вот ей уже восемнадцать лет, а парни обращают на нее не больше внимания, чем на Киру Тенету, ну так Кира всегда была синим чулком и сама не смотрела в их сторону, а она-то никакой не синий чулок, значит...

Что все это значит, думать больше не хотелось. Прохладный воздушный шар, вкатившийся в окно, уже растворился в комнате, и жар ее мыслей ничем не охлаждался извне.

Люба надела сарафан и спустилась из мансарды вниз.

Доски веранды тоже не остыли еще после дневной жары, и казалось, что притаившееся в них солнце щекочет босые пятки.

Она села на нижнюю ступеньку, спрятала ноги в траве. Ноги сразу стали мокрыми от ночной росы, но голова пылала по-прежнему. Любу охватила тоска предутреннего часа – самая, наверное, безнадежная тоска из всех, какие подстерегают человека.

Дверь, ведущая из дома на веранду, открылась у нее за спиной. Люба оглянулась.

«Быстро они, однако! – подумала она. – Или это я долго

в кровати вертелась?»

Саня прошел через всю веранду и уселся рядом с Любой на последней ступеньке. Он тоже опустил ноги в траву, и Люба поняла, что ему тоже жарко. Ну, ему-то ясно отчего.

– Не помешаю? – спросил он.

– Нет, – пожала плечами Люба. – А Сашка где?

– Спит.

По такому его ответу нетрудно было догадаться, что Александра в самом деле не стала разводить антимонополии, и легли они в одну кровать. Вот, видимо, уже справились со своим приятным делом.

Саня молчал. Его молчание не угнетало, хотя Любу слегка задевало то, что он так явно не видит в ней собеседника.

– Вы с Сашкой красиво пели, – зачем-то сказала она. – Даже странно.

– Почему странно? – усмехнулся он.

– Не думала, что вас там в консерватории таким песням учат.

– Там всяким учат.

Вот и разговаривай с ним! Она отвернулась, вернее, задрала голову, чтобы не слишком явно показывать свою дурацкую уязвленность.

Люба задрала голову и... И вскочила, как будто кто-то подбросил ее вверх сильной рукой!

– Смотри! – воскликнула она. – Саня, смотри!

Небо над кофельцевским парком было прочерчено звезд-

ными линиями. Оно даже и не прочерчено было – тонкие острые всплески возникали на нем прямо сейчас, на глазах у изумленной Любы. Они появлялись, исчезали, на их месте сразу же возникали новые... Все небо сверкало звездным дождем!

От восторга Люба напрочь забыла и свое равнодушие к Сане, и свою уязвленность его равнодушием к ней. Она даже за руку его схватила, подпрыгивая на ступеньках, как несмышленный ребенок! И хорошо, между прочим, что схватила: если бы он не поднялся и не держал ее, то она бы ноги переломала, наверное. Даже несчастная любовь вылетела на мгновение из ее сердца.

Может, это она и сияла сейчас над целым мирозданием, Любина любовь – свободная от всего выдуманного и случайного, вся состоящая из чистого света, из небесного огня, сквозь который Земля проносилась вместе с Любой.

– Загадала желание? – спросил Саня.

Люба наконец оторвала взгляд от неба и перевела на него. Он смотрел без насмешки, со вполне человеческим интересом; все-таки зря она на него обижалась.

– Не-а, – улыбнулась Люба. – Не успела сформулировать.

Последние звездные капли растворились в небе. Поток Персеид исчез во Вселенной, и поздно было просить у него какой-нибудь определенной для себя радости.

Но то, что она не успела загадать ничего конкретного, несколько Любу не печалило: ей было достаточно того непо-

нятного, необъяснимого и очень сильного счастья, которое она только что пережила.

Саня снова сел на ступеньки, и она села с ним рядом.

– Подожди-ка, – сказал он и, наклонившись, собрал в ладонь стекляшки, лежащие на земле у веранды.

Да, бокал ведь разбился. Любе стало стыдно оттого, что она сразу не убрала осколки.

Может быть, конечно, Санин восторг от звездопада не был таким сильным – во всяком случае, он не выказал его так, как Люба, – но после того как они вместе этот восторг пережили, она уже не испытывала к нему настороженности.

– Я тебя, кажется, обидел, – сказал он.

– Чем это? – удивилась Люба.

– Что имени твоему удивился.

– Все удивляются, – улыбнулась она. – Никто не понимает, почему если Жаннетта, то Люба.

– А почему? – с интересом спросил он.

– Когда мама эту свою глупость излагала – что я не Жанна, а Жаннетта, два «н» и два «т», – то все, естественно, спрашивали: «А дома как вы ее зовете?» А она отвечала: «Дома я ее зову Люблюха». Ну, вот и Люба.

Саня расхохотался. Люба вздохнула. Все правильно – что, кроме смеха, может вызвать эта дурацкая история?

– Интересно! – сказал он.

– Ничего интересного, – пожала плечами она.

– Почему? – не согласился Саня. – В мире нет больше ни

одного человека с таким именем, как у тебя, – полностью Жаннетта, сокращенно Люблюха. Представь: на всей Земле ты одна такая.

Его слова удивили ее. Она никогда не думала о себе в таком смысле. А от того, что минуту назад, стоя под звездным дождем, она впервые в жизни ощутила себя обитательницей не просто земли, а Земли как планеты, – от этого Санины слова показались ей особенно убедительными.

– Вообще-то да. – Люба снова улыбнулась. – В смысле, мама любит все оригинальное.

Вообще-то она считала, что у мамы просто нет вкуса, потому она и любит все, что не по ней, и попросту такое называется «не по одежке протягивать ножки». Но не объяснять же это едва знакомому человеку.

– Ты, я понял, с Сашей в одном доме живешь? – спросил Саня.

– Мы все в одном доме живем. И я, и Сашка, и Кирка, и Царь. Спиридоньевский, угол Малой Бронной. А тебе Сашка не говорила разве?

– Нет.

Ну да, Сашка любит разводить тайны на пустом месте. Может, наплела ему, что в средневековом замке обитает.

– Но я ведь и не спрашивал, – словно подслушав Любины мысли, сказал Саня.

– Вы вместе учитесь? – поинтересовалась Люба.

– На разных курсах. И специальности разные. Мы с Сашей

только сегодня познакомились.

Судя по тому, что он сидел сейчас в полурасстегнутой рубашке и русые волосы прилипли к его лбу мокрыми черточками, знакомство с Александрой привело к приятному результату.

Стоило Любе об этом подумать, как и все остальные мысли сразу же вернулись в ее голову. В частности, о том, что ей хотелось бы изменить свою жизнь, но как это сделать, она не знает.

«Раскричалась тут, как младенец, – с прежней досадой на себя подумала она. – Ну, звездопад, что особенного? На жизнь это никак не влияет».

– Я – спать, – сказала Люба, поднимаясь со ступенек. – Хоть на пару часов.

– Спокойной ночи, – без тени разочарования пожелал ей вслед Саня.

Люба чувствовала себя Золушкой, обнаружившей, что, несмотря на все ее восторги, волшебная карета превратилась в тыкву, как и было обещано, да и принц вдобавок совсем не тот, о котором она мечтала.

И что это она себе вдруг выдумала, будто мир как-то переменялся к ней? Видимо, все-таки мамин ген пустой романтической время от времени дает о себе знать. Осталось только упавшую звезду на веранде поискать!

Люба оглянулась. Саня сидел на ступеньках, ноги его тонули в тумане, который уже стелился по траве, обещая

утреннюю росу, и что-то поблескивало рядом с ним на досках веранды. Люба вздрогнула. Но, присмотревшись, поняла, что никакая это, конечно, не звезда, а просто осколки.

Коснулся их последний лунный луч, оттого-то и кажется, что сидит на ступеньках Маленький Принц рядом с упавшей звездой.

Глава 4

Люба провела по ступенькам ладонью. Да, вот здесь они и сидели той ночью. Почему ей вдруг это вспомнилось? Три года прошло.

Впрочем, догадаться нетрудно: ничего выдающегося за эти три года в ее жизни не случилось, вот и вспоминаются только малозначительные или вовсе не значительные события.

Люба выжала тряпку и выплеснула в кусты воду из ведра. Дверь в дом она оставила открытой, чтобы просохли вымытые полы.

Две недели подряд шли нудные дожди, и вдруг явилось бабье лето, и мама тут же решила, что самое время убраться перед зимой на дачах, как делала она всегда. К октябрю все кофельцевские обитатели обычно возвращались в город, никто не путался под ногами и не мешал ей вытряхивать одеяла, сушить на ветерке подушки, вычищать кухонные шкафы ввиду зимнего нашествия мышей и мыть окна.

Из-за окон-то мама и не успела с уборкой у Иваровских: ветерок хоть и был легкий, но прохватывал уже по-осеннему, и она простыла, когда мыла окна на даче у Тенета. Люба рассердилась на нее за это так, что чуть не расплакалась. Ну что, в самом деле, за энтузиазм такой идиотский? Двадцать лет в прислугах, а ведет себя до сих пор так, будто ее только

что взяли на испытательный срок!

— Ну при чем здесь испытательный срок? — оправдывалась мама, выслушивая Любины возмущенные возгласы. — Ангелина Константиновна мне всегда говорила: «Делай, Норочка, как сама считаешь нужным». И Илья Кириллович с Марией Игнатьевной всегда полную свободу предоставляли, и тем более Иваровские.

— Ну конечно, свободу! — сердито фыркнула Люба. — Хочешь, Норочка, сегодня окна вымой, хочешь, послезавтра. Вот и сиди теперь дома, молоко с инжиром хлебай!

Прокипяченное с инжиром молоко считала вернейшим средством от простуды как раз Ангелина Константиновна Тенета. Она говорила, что это старинный восточный рецепт, и лечила с его помощью и свою внучку Киру, и Сашку Иваровскую, и Федора Ильича, и Любу, когда все они были маленькими. Да и взрослые этим средством пользовались — мама вот и сейчас инжирное молоко пьет.

— Но как же — дома сиди? — начала было она. — Надо же еще...

— У Иваровских я сама уберу, — буркнула Люба. — Завтра съезжу в Кофельцы и за день все сделаю.

— Они сердиться будут, — вздохнула мама.

Любино участие в маминой работе всегда являлось непростым вопросом их общей жизни. Вернее, простым вопросом оно являлось.

Когда Любе было лет семь, она принялась было помогать

маме во время уборки у Тенета – стала вытирать пыль с книжек их большой библиотеки. Тогда-то Ангелина Константиновна и сказала:

– Нора, я тебя настоятельно прошу: ребенка к уборке не привлекай. Во всяком случае, у нас в квартире. И Кузнецовы с Иваровскими к моей просьбе присоединяются. У взрослых своя субординация, а дети к ней отношения иметь не должны. Дружат, и на здоровье, и ничем Жаннетта от других не отличается.

Как будто такие вопросы решаются одним лишь намерением! Да и вряд ли это намерение было таким уж искренним; Люба, во всяком случае, считала его лицемерным. Вот ведь не рассматривают ее, например, Кузнецовы как возможную невестку, даже мысль такая им в голову не приходила. А Сашку в этой роли все представляют прекрасно. Ну и в чем тогда равенство? В том, что с детства их обеих приглашали к Царю на дни рождения или что они все вместе клеили ангелочков для рождественской елки у Иваровских? Не смешите, пожалуйста!

– Алиция не одобрит, если ты у них на даче убираться станешь, – повторила мама.

– Она и не узнает, если сама не проболтаешься, – отрезала Люба. – И вообще хоть ты в эти игры не играй, пожалуйста, а?

– Это не игры, – вздохнула мама.

Переубедить ее было бесполезно. Люба считала, что по-

весть «Кроткая» Достоевский должен был бы написать про жизнь ее мамы. Правда, это была бы совсем другая повесть – ровная, тихая, без страстей, – но название подходило в точности.

Из-за маминого неуместного трудолюбия Люба провела на даче Иваровских целый день, хотя самой ей надо было всего лишь забрать оттуда для стирки свои летние платья. Но вот только к вечеру вымыла наконец веранду. Можно уезжать.

Она села на ступеньки и закурила. Дым не растворялся в воздухе, а кружился и улетал вместе с ветром, как осенняя паутина. Возле дальнего дома жгли костер, и оттуда дым улетал в воздух тоже.

В кружении ветра, паутины и дыма появился на тропинке между соснами Федор.

– Привет, – сказал он, подходя.

Люба всегда поражалась обыденности его появления. Для нее оно было как удар в сердце, а вот же – просто идет по тропинке, подходит, останавливается прямо перед нею...

– Привет, – ответила она. – Давно приехал?

Кузнецовы возвращались с дачи в город первыми: у Марии Игнатьевны была стенокардия, и она боялась оставаться в Кофельцах, когда здесь становилось не по-летнему безлюдно. Мама и убрала их дачу первой, и уже заперла на зиму; Люба видела навесной замок на двери и закрытые ставни.

– Только что, – ответил Федор. – Конспекты забрать. По

матанализу.

– Зачем они тебе? – удивилась Люба.

Федор окончил университет год назад, учился теперь в аспирантуре, и с чего бы вдруг ему понадобились старые тетрадки?

– Уезжаю, Люба, – сказал он.

У нее сердце оборвалось. Она сразу поняла, что он говорит не о краткой поездке – на отдых куда-нибудь, например, – а совсем о другом.

– Навсегда? – помолчав, спросила она.

– Ну, вечность я в свои дела не вмешиваю, – усмехнулся он. – Как сложится.

Надо было спросить, куда он едет и зачем, но Люба не могла произнести ни слова.

Она видела Федора не то чтобы редко, просто не чаще, чем остальных друзей своих детских игр, да и видела-то в последнее время почти всегда на ходу и мельком, но сознание того, что он рядом, было для нее очень существенным. Любовь к нему осталась в ее жизни тем единственным, что не имело отношения к повседневности, да, именно так.

Когда она была маленькая, всего такого было много – сказки, которые читала им всем Ангелина Константиновна, или страшные истории, которые во множестве выдумывала Сашка, когда они переходили из первого класса во второй или из второго в третий и собирались у нее на даче вечерами во время каникул. Но ведь стоит только вырасти, и сказ-

ки уже не увлекают, и страшные истории перестают пугать... Все необыденное в Любиной жизни давно закончилось.

Все, кроме ее любви к Федору. И вот он уезжает. И куда теперь денется ее любовь?

Этот вопрос оказался для нее неожиданным и поразительным. В самом деле, куда? Исчезнет, растворится, как дым в соснах, или наоборот – вопьется в сердце, измучит, иссушит совсем? Это было непонятно.

– Куда ты едешь? – с трудом выговорила она.

Не молчать же. Ей не хотелось, чтобы Федор заметил ее убитый вид. Хотя теперь и это, наверное, все равно.

– В Прагу.

– Зачем?

А какая разница, зачем? Навсегда, навсегда!

– Гены, наверное, выиграли.

– Разве у тебя пражские гены? – удивилась Люба.

Федор засмеялся:

– Тебе романы писать! Увидел бы я книжку с названием «Пражские гены», обязательно купил бы.

Скажи такое не он, Люба обиделась бы. Ей – романы писать? Да она их и читает-то раз в год по обещанию! И вообще способностей у нее ни к чему такому нет.

– Гены у меня выиграли в том смысле, – объяснил он, – что я понял свою неспособность жить в мире абстрактных величин.

Ага, объяснил, называется! Наверное, с Кирой ее перепу-

тал: та бы уж точно поняла, что он имеет в виду.

– Проще, Федь, проще, – напомнила Люба. – Мы гимназиев не кончали.

В школах они учились в разных – Федор в наилучшей математической, а она в обыкновенной, которая рядом с домом, да и из той после восьмого класса в швейное училище ушла, – но некоторые книжки все-таки читали одновременно и чуть ли даже не вместе. А потому про то, как в «Золотом теленке» выпускник Пажеского корпуса любил напоминать, что не кончал гимназиев, – знали оба.

– Надоела мне чистая математика, – сказал Федор. – В детстве манила – вот этой самой абстрактностью своей, я думаю, – а теперь тем же самым и надоела. Экономикой буду заниматься. Как на роду написано.

– А почему в Праге? – спросила Люба.

Что там кому на роду написано, это были такие тонкости, которых она в самом деле не понимала, а главное, не чувствовала, чтобы они были сколько-нибудь важны для жизни.

– Потому что на Гарвард денег нет. А в Праге что-то вроде подготовительных курсов. Если прилично окончу, могу учиться в любом американском университете бесплатно.

Вот это было уже не про какие-то абстрактные величины, а про человеческие дела, и это было Любе полностью понятно. Он окончит курсы в Праге – стоит ли сомневаться, что окончит наилучшим образом? – а потом уедет в Америку. Навсегда. Никуда не деться от этого леденящего слова.

– Федя! – послышалось у него из-за спины.

Люба вытянула шею, даже чуть передвинулась на ступеньках – из-за его плеч ей ничего не было видно – и посмотрела на ведущую к его дому тропинку между соснами.

На тропинке стояла девочка. Солнце уже опустилось к нижним веткам деревьев и освещало ее прямыми лучами. И вот то ли из-за того, что она стояла в сплошном, но не слепящем солнце, то ли по другой какой-то причине, но Любе показалось, что девочка эта слетела на тропинку, как лесной эльф. Даже с нимфой ее невозможно было сравнить – нимфы вроде должны быть пышнотелые. Эльф, именно эльф! Ну или Дюймовочка. Нежнейшее существо.

– Федя, – повторило это существо, подходя к веранде, – я уже все собрала.

Когда девочка вышла из сплошного светового потока, то ощущение ее неземной природы развеялось. Стало понятно, что она не воздушная и не сказочная, а просто очень милая и симпатичная и Любина ровесница.

– Здравствуйте, – сказала она, глядя на Любу с ясной доброжелательностью.

«Одноплановая, – подумала Люба. – Не одноклеточная, конечно, нет, а вся на одном плане. Ни единой задней мысли».

У нее была коса, длинная, словно из льна сплетенная, и глаза синели, как васильки на ситцевом сарафанчике, в который она была одета.

Любину резкую внешность можно было, конечно, считать оригинальной, но все-таки это было условное допущение – на любителя, как говорится. А тут все было безусловно – милота совершенная, окончательная, обжалованию не подлежащая.

Господи, откуда такие только берутся?! В каком заповеднике Федор ее отыскал?

– Познакомьтесь, – сказал он. – Это Люба, друг мой с детства. А это Варя. Моя невеста.

«Вот так. А ты чего ожидала?» – подумала Люба.

Сердце ее сжалось уже не просто печалью, как в ту минуту, когда она узнала, что он уезжает, а мертвой тоской. А сначала, до тоски, в него будто изо всех сил талым ледяным снежком запульнули, в ее сердце; Люба чуть не охнула.

Вот так вот тебе все сразу – и Америка, и Варвара-краса, длинная коса! Смысл слова «навсегда» усилился многократно.

– Очень приятно. – Варя улыбнулась и добавила: – Буду рада познакомиться ближе.

Хотя что уж такого радостного в знакомстве с какой-то Любой, будь она хоть сто раз с детства друг, как Царь изволил выразиться? Головами покивали и разошлись и забыли.

– Ты когда в город? – спросил Федор. – Поехали с нами.

– Нет, я еще не скоро. – Люба замотала головой так, что чуть шею не свернула. Взгляд ее при этом упал на ведро, которое она, выплеснув, поставила на ступеньки. – Еще за гри-

бами пойду! Я за ними и приехала.

Разве мыслимо было раньше, чтобы она отказалась? Это же счастье было бы безмерное – ехать с ним вдвоем, болтать по дороге о чем-нибудь, все равно о чем, или всю дорогу молчать. А теперь что же? Теперь все.

– К вечеру – за грибами? – удивился Федор. Люба пожала плечами: мол, почему бы и нет, разве у меня не может быть своих причуд? – Смотри, – предупредил он. – Говорят, вчера две электрички из Клина отменили. Третью чуть с рельсов потом не снесли.

– То вчера было, а то сегодня. Доберусь.

Люба еле выдавила из себя эту глупость. О чем она говорит, и с кем, и зачем?

– Ну, пока тогда.

Он махнул ей на прощание и пошел по тропинке к дому, и нежнейшая невеста тоже приветливо помахала Любе и пошла вместе с ним, и... И это все, что ли? Они больше, что ли, не увидятся?!

– Федь! – Люба заорала так, словно он успел скрыться за горизонтом. – Так ты уже уезжаешь, что ли?

Федор остановился, оглянулся, посмотрел удивленно.

– Ну да, – кивнул он. И, догадавшись, пояснил: – В Москву, в Москву. В Прагу через месяц. Еще и свадьба впереди, и отвальная – увидимся. Пока!

«Конечно, он знал, что я по нему сохну, – думала Люба, глядя ему вслед; на его длиннокосую Варю она уже не смот-

рела. — Именно что сохну, правильно мама говорила. От того и хлесткая, как лоза, что по нему высохла. А эта его, невеста эта — как белый налив на просвет! Прекрасно он все про меня знал, да и кто не знал? Даже Ангелина Константиновна, хоть и старуха, даже Кирка, наверное, не говоря про Иваровских. Кто сочувствовал, кто посмеивался, а мне все равно было. А теперь все это неважно, кто и что... Теперь все это... Навсегда!»

Глава 5

Жаннетта уехала в Кофельцы так рано, что Нора еще спала.

То есть, конечно, она проспала дочкин отъезд не оттого, что было раннее утро – Нора всю жизнь вставала на рассвете, – а оттого, что захворала не на шутку.

Еще когда она была совсем девчонкой, моложе Жаннетты нынешней, Ангелина Константиновна говорила, что у Норочки хрупкий организм. Тогда она этому не верила – у нее-то, у сибирячки, да с чего бы? – а теперь вот то и дело приходилось убеждаться, что это правда. В прошлую зиму обычные простуды укладывали ее в постель трижды, а когда она однажды попыталась не обращать на кашель внимания, то даже в больницу с воспалением легких угодила, вот как. И сейчас наверняка бронхит – ночью с трудом сдерживала кашель, чтобы не разбудить Жаннетту, а теперь, очнувшись от полубреда-полусна в одиночестве, закашлялась так, что пот прошиб.

Нора встала, укуталась в халат – ее знобило – и поплелась в кухню. Надо было вскипятить молока с инжиром, может, кашель если не пройдет, то хотя бы размягчится, а то ведь грудь просто на части рвет.

Как рано она увяла! Оттого и болезни, что потребности жить не осталось. Иногда Нора ловила себя на том, что если

бы не дочка, то легла бы навзничь, и никто бы ее не поднял, и ничто к жизни не вернуло бы. Жаннетта говорит, что это низкий гемоглобин, и, конечно, с медицинской точки зрения так оно и есть, но если смотреть не с медицинской точки, а с жизненной, то причина и следствие тотчас меняются местами.

Сколько Нора себя помнила, она всегда знала, что с чем связано, что из чего происходит. Никаких способностей Бог ей не дал, но все же наградил таким вот странным качеством – чутьем его считать, что ли? Чутье это не выливалось ни в какие практические навыки, во всяком случае, Нора ни к чему его применить не сумела, но в жизни оно ей все же помогало. Она считала, что именно благодаря ему не совершала непоправимых ошибок. А это ведь немало. У других и того нету, и совесть свою они калечат легко, а там и вся жизнь идет вразнос.

Нора начинала вспоминать свою жизнь только во время болезни, вот ведь странность какая. Может, просто в здоровом состоянии у нее не оставалось времени на воспоминания, а может, то, из чего состояла ее память, как раз и требовало болезни, чтобы выбраться наружу, и сразу же пряталось при здоровом состоянии духа. Кто знает!

Она помнила себя довольно поздно, лет с семи. До этого ясной памяти не было, все было смутно и освещалось лишь отдельными вспышками, такими же яркими, как и непонятными. Виделась вдруг большая собака, похожая на волка, и

будто бы она, Нора, обнимает эту собаку за шею, и, чтобы обнять, ей приходится вставать на цыпочки. Это помнилось так отчетливо, что она даже чувствовала, какая у той собаки жесткая шерсть, как царапается ее язык, когда она лижет Норино лицо.

А что это за воспоминание, к чему оно? В поселке Каменка собак было много, может, которая-нибудь ее в детстве и лизала, ну и что? Одно было странно: наяву Нора собак не боялась, а память была окрашена ужасом, притом каким-то беспросветным, всеохватным. Может, не с собакой тот ужас был связан? Или все-таки с собакой – с тем, что она ее укусила, ведь, наверное, это от собачьего укуса на плече шрам остался? Нора не знала.

Но задумываться о таких вещах ей было некогда. Она шла утром по школьному двору и думала о том, что вот уже подмораживает и не сегодня завтра в резиновых ботах на улицу не выйдешь, а валенки у нее еще в прошлом году прохудились, и надо найти, чем их залатать, потому что завхоз Трифоныч хоть и обещал новые, да непременно обманет, уж он такой.

В школу она шла не учиться – уже три года как окончила восьмилетку. Но еще когда Нора в шестой класс ходила, Трифоныч заметил, как споро и ловко работает она во время субботников или когда он без всякого субботника велит ей вымыть коридоры да окна – все равно ведь при школе живет, трудно ли вечером прибраться, вот и пусть, мол.

Она выполняла его задания безропотно: боялась, что сдадут в детдом. Одной-то несовершеннолетней жить не положено, и тетя Валя, техничка, с малых лет ее пугала: не будешь слушаться, станешь кому поперек, а тот сразу куда надо и стукнет, тут и вспомнят про тебя, и заберут в детдом, вот тогда узнаешь!

Что она тогда узнает, Нора старалась не думать. И изо всех сил стремилась никому поперек не становиться.

Поэтому, когда она окончила восьмилетку и узнала, что завхоз Трифоныч сказал на педсовете, мол, надо Маланину оформить техничкой, потому что Валентина старая стала, на пенсию пора, – Нора не знала, радоваться ей или печалиться. Вообще-то она мечтала уехать в райцентр или даже в сам Красноярск и поступить в девятый класс, но понимала, что это лишь прекрасные мечтания. Завучиха Вера Матвеевна рассказывала, что при Сталине десятилетка была платная, сто пятьдесят рублей в год отдай как с куста, но ведь и сейчас, хотя Сталин десять лет как помер и денег за учебу не берут, да жить-то где она будет в райцентре и на что будет жить? Путались ее мысли! Получалось, что решению педсовета, который Трифоныча поддержал, Нора должна была бы радоваться: останется жить при школе, как с малых лет жила, комнатка у нее хоть, считай, и чулан, зато теплая, потому что примыкает к печке, которой топится младший класс, и с утра будут давать бесплатно кашу, как раньше давали, когда она еще ученицей была, это ей Трифоныч твердо пообещал,

вроде как прибавку к зарплате...

Должна она была радоваться, но не радовалась. Печаль лежала у нее на сердце. Словно кто-то обещал, что будет у Нору, когда вырастет, другая жизнь, что увидит она что-то дальнее и новое, и вдруг обещания своего не сдержал... Но ведь никто ей не обещал ничего такого, а если бы и обещал, то к обманным обещаниям ей тоже не привыкать, она только такие за свою жизнь и знала.

Жизнь ее – во всяком случае, та часть, которая была ей известна, – и началась-то с обмана. Ведь обманом же оставил ее в Каменке моряк, неизвестно откуда ее сюда привезший.

Тетя Валя, техничка, сама всю жизнь при школе прожившая, за Нору радовалась.

– Хоть не пропадешь теперь, – объясняла она. – Кабы на работу не взяли, так куда б тебе деваться? Ни кола, ни двора, ни документов путных. Только в детдом сдаваться. А так еще два годочка мышкой просидишь, а там и восемнадцать стукнет, и никуда уж тебя не заберут, живи в свое удовольствие, хоть замуж, если дурень найдется безо всего взять, хоть что.

И снова-заново начинала пугать детдомом, в котором морят голодом и запирают в холодную.

Тетя Валя хоть и растила Нору с трех лет – это именно Валин двоюродный брат свалился когда-то в Каменку как снег на голову и навязал родственнице непонятно откуда у него взявшуюся девчонку, – но удочерять ее никогда не хотела. Фамилию подкидышу она записала не свою, а братнину –

Маланина.

— Ежели я тебя на себя запишу, — без обиняков говорила она Норе, — дак я за тебя и отвечаю. Чтоб одета-обута, училась бы как положено. А на кой мне эдакий камень на шею? С моими-то хворобами еще девку прибудную растить! Пашка тебя, может, от бляди портовой нагулял, самого ищи, как ветра в поле, а я рост? Нету на то моего согласия! Доглядываю тебя, как могу, и на том скажи спасибо.

Валины хворобы заключались главным образом в страсти к самогонке, поэтому Нора и сама не хотела становиться ее дочкой. И благодарность к ней испытывала умеренную: спасибо, конечно, что на улицу не выбросила и в детдом не сдала, но никаких знаков Валиной заботы, кроме скудной еды-одежки да обильных тумачков, детская память не сохранила, а едва выкарабкавшись из раннего детства, Нора стала заботиться о себе сама.

В общем, никуда она после восьмого класса не уехала, а осталась при поселковой школе, и было тому уже четыре года.

Утром первого января она шла по школьному двору с вязанкой дров, чтобы протопить помещение и приняться за его уборку. Полгода назад, после смерти тети Вали, Нора перебралась из своего чулана в примыкающий к зданию школы флигель, большую часть которого занимал дровяной сарай, а меньшую — комната технички.

Вчера был новогодний вечер, после которого все школь-

ное крыльцо было засыпано конфетти вперемешку с серпантином. Нора на вечере тоже была, повеселилась не хуже старшеклассников, и танцевала, и вина вместе с ними потихоньку выпила за углом. Хорошо ей было! Ну а теперь работать пора.

Она поднялась на крыльцо и увидела, что входная дверь не заперта. Это ее удивило: кому здесь быть в выходной? Нора вошла и прислушалась.

Из кабинета физики, расположенного дальше всего от входа, доносился мужской голос. Он был так прекрасен, что Нора замерла, не решаясь сделать дальше ни шагу и даже вязанку не решаясь скинуть с плеча. Она застыла на месте не потому, что испугалась, а потому, что это был не просто незнакомый голос, а голос поющий.

И так необычно пел этот человек, что восторг и оцепенение охватили Нору с равной силой.

Необычным был и сам голос – низкий, глубокий, и песни – ни одной из них Нора никогда не слыхала; так ей сначала показалось.

«Да нет же, слыхала! – тотчас вспомнила она. – По радио только, не живую, потому и не узнала. Ну так и есть, про три карты он поет, а это из оперы «Пиковая дама», недавно передавали».

Она потихоньку прошла по недлинному коридору и остановилась под самой дверью физкабинета. Теперь голос звучал совсем рядом с ней. Нора закрыла глаза, чтобы не видеть

прямо перед собою дверь с облупившейся краской, и слушала, и слушала, чуть не лбом к этой двери прижавшись.

Голос не просто звучал совсем рядом – он прикасался к ней, и обнимал, и делал с нею что-то такое, чего она никогда в своей жизни не знала, но догадывалась, что это называется нежностью и лаской, и от того, что он был близко, этот чудесный голос, ей становилось счастливо и стыдно, и тем счастливее, и тем стыднее, чем более он приближался...

Голос приблизился совсем, и дверь распахнулась, стукнув Нору по лбу. Она отшатнулась и упала, больно ударившись спиной. Вязанка, которую она так и не скинула с плеча, при этом рассыпалась, дрова полетели на пол с оглушительным грохотом. Искры брызнули у Нору из глаз, и она не сдержала вскрик.

– Ах ты, что!.. – услышала она. – Ушиб тебя, а?

От испуга она зажмурилась, когда падала, и вот только теперь открыла глаза. Над нею нависал огромный незнакомый мужчина. Он присел на корточки, и только тогда Нора его узнала – это же физик новый, перед самыми каникулами из райцентра прислали. Зовут Петр Васильевич. И никакой он не огромный, просто с полу ей так кажется.

– Лоб тебе разбил? – спросил физик. – Что ж ты под дверью стоишь? Входила бы.

– Да я протопить только шла... – пробормотала она. – А заслушалась.

– Ну и топи, и слушай себе на здоровье.

Он взял Нору за руку и, распрямляясь сам, рывком поднял ее с пола. При этом он не рассчитал силы: Нора резко взлетела вверх и снова ткнулась лбом, только не в дверь уже, а прямо ему в грудь, потому что он был хоть и не огромный, но все же довольно высокий, а она маленькая, тетя Валя говорила, – плюгавая.

Она почувствовала, какая твердая у него грудь, каменная прямо. Это почему-то страшно ее смутило, и она отпрянула от него, будто обожглась.

– Мало что лоб тебе расшиб, так и напугал еще.

Петр Васильевич усмехнулся. Хотя он уже и не пел, но то, что было в его голосе, что заставило Нору замереть под дверью, никуда не делось. Видно, это принадлежало не голосу, а ему самому.

Она стояла на пороге, и он держал ее за руку, потому что она не выдернула ее сразу, а теперь вот замерла, оцепенела.

– Техничкой тут? – спросил он.

Нора кивнула. Он не отпускал ее руки.

– А зовут тебя как?

Пение разгорячило его, воодушевило – глаза блестели. Они у него были узкие, сибирские, в таких блеск особенно заметен. Норе показалось, что она заглянула в глубь земли сквозь ее разломы.

– Нора, – чуть слышно ответила она.

– Ишь ты! – Он покрутил головой. – Это как же полностью будет?

– Так и будет.

Имя – это было единственное, что о ней было известно с самого начала; с ним ее привез в Каменку непутевый тети-Валин родственник. Норе казалось, что при таком необычном имени должно было бы сохраниться что-нибудь еще – какой-нибудь алмазный перстень, или гранатовый крестик, или золотая булавка с рубиновым сердцем, или медальон с локоном и портретом прекрасной женщины, которая окажется ее мамой, – в общем, что-то такое, по чему ее когда-нибудь нашли бы и безошибочно узнали родные. Но ничего такого при ней не имелось, а если бы и был, к примеру, золотой медальон, то тетя Валя сразу бы его пропила, а если бы каким-нибудь чудом не пропила, то кто бы стал искать по белу свету ее родню? У всех своих забот хватает.

– С фантазией твоя мамка! – весело сказал физик. – Здешняя сама, каменская?

– Я при школе живу, – неопределенно ответила Нора. – Во флигеле.

– Ну проходи, что стоишь?

Он сделал шаг в сторону, пропуская ее в класс, и она подалась за ним, потому что рука-то до сих пор была в его руке.

– Топи, раз собралась, – сказал он и принялся подбирать рассыпанные дрова.

Как только он отпустил ее руку, Нора почувствовала такую грусть, что чуть не заплакала.

– А вы... – пробормотала она.

– Сейчас соберу, – не оборачиваясь, ответил он.

– Да я не про то, – набравшись смелости, сказала Нора. – Петь вы больше разве не будете?

Он разогнулся, посмотрел на нее и засмеялся: наверное, очень уж растерянное было у нее лицо.

– А надо? – спросил он.

– Да, – серьезно кивнула она.

– Надо, значит, надо. – Видно было, что ее просьба ему приятна. – Слушай тогда. Не мешай только.

Еще бы она стала ему мешать! Нора села на краешек парты – они еще стояли у стен после вчерашнего праздника, – и с нею сделалось то, что в книжках называют «вся превратилась в слух».

Но и во взгляд она вся превратилась тоже – он у нее стал таким, каким никогда в жизни не был. И вот этим своим новым пронзительным взглядом она смотрела, как Петр Васильевич открывает большой нотный альбом, лежащий на подоконнике, пролистывает его – выражение лица при этом стало у него рассеянным, даже отрешенным, – наклоняет голову...

Он как будто бы и не сам запел, не горлом, не грудью – из такой бездонной глубины зазвучал его голос. Нора снова подумала про земные разломы. Если можно было назвать мыслями то, что с нею происходило.

Пел он теперь совсем другое, не из «Пиковой дамы», а просто песню. От ошеломления, от растерянности Нора не

могла ее смысл не то что запомнить, но даже уловить. Была она про то, как ветер занавесочку тихонько шевелит, и еще про времечко – час двенадцатый, разлука нам дана...

Она прижала руки к груди и сидела так, неподвижно, когда его голос уже и умолк.

– Понравилась песня? – спросил Петр Васильевич.

Нора кивнула. Она боялась поднять на него глаза. Понравилась!.. Да разве такое слово нужно, чтобы передать, что она чувствует?

Он снова засмеялся – конечно, над нею, над ее ошеломлением. Но она на его смех не обиделась, и даже не потому, что вообще была не из обидчивых, а потому что разве можно обидеться на человека, у которого в голосе нежность и сила сплетены так, что не расплетьшь?

– Чуткая ты, – сказал он.

И, быстро притянув к себе, поцеловал Нору в губы. Это было так неожиданно, что она ахнула. Но тут же и замолкла, и замерла в его руках...

Когда Петр Васильевич отпустил ее, сама она вся дрожала, а губы огнем горели от его поцелуя.

– И сладкая. – Его голос звучал спокойно и весело. – Лет тебе сколько?

– Д-двадцать... – с трудом выговорила она.

– Для любви самый срок.

Этого Нора не знала. Вернее, она никогда об этом не думала. Любовь представлялась ей чувством воздушным и

необыкновенным, а значит, это было что-то не из ее жизни, потому что ее жизнь шла трудно и ровно.

Наверное, он думал иначе, потому что обнял Нору еще крепче и поцеловал еще сильнее. А может, ни о чем он не думал, а целовал так же, как пел, – всем своим существом.

И тут, во время этого нового поцелуя, ошеломление перестало быть главным Нориным чувством. Потому что главным стало счастье. Оно переполнило ее до самой макушки, от него защипало в носу, как от слез, но это было именно счастье, не что иное. Хотя Нора никогда его прежде не знала, но теперь, так неожиданно став счастливой, встретила это свое новое состояние с таким восторгом узнавания, как будто родилась с ним, а потом по какой-то непонятной причине утратила, и вот оно вернулось, наконец-то вернулось, и так оно и должно быть, и никак иначе!..

Она вскинула руки и тоже обняла Петра Васильевича. Жаль, что не сразу она это сделала – как раз в этот момент поцелуй закончился.

Петр Васильевич внимательно посмотрел Норе в глаза – она сама чувствовала, как сияет в них счастье, – и ласково погладил ее по плечу.

– Ну, будет, будет, – сказал он. – Однако и я что-то... Раздухарился.

– Вы ничего! – горячо проговорила она. – Просто вы пели, и... и душа у вас взметнулась!

– Душа взметнулась? – Он засмеялся. – Хорошая ты. Ну,

топи свою печку.

И с этими словами он вышел из класса, на ходу прихватив свой нотный альбом – так, что и песни словно бы вышли вместе с ним. А Нора осталась в ошеломлении еще большем, чем от обоих его поцелуев, которые пылали на ее губах.

Глава 6

Хлопнула входная дверь.

– Ты, Люблюха? – спросила Нора.

– А ты будто бы еще кого-то ждешь.

Дочка вошла в комнату. Волосы у нее были мокрые, потому что к вечеру начался дождь, а глаза расстроенные и сердитые, это уж Нора не знала почему.

– Врач был? – спросила Жаннетта.

– Да я и не вызывала.

– Кто бы сомневался! – Жаннетта рассердилась так, что в глазах у нее молнии полыхнули. – Что они знают, доктора, разве они вылечат... Деревенская болтовня!

– Ну когда я такое про врачей говорила? – От того, что дочка рассердилась, Нора расстроилась. – Я же, наоборот, всегда хотела, чтобы ты на врача выучилась.

– Отстаньте вы от меня все!

Жаннетта вдруг взмахнула руками и выбежала из комнаты. Зашумела в ванной вода.

И как поймешь, что с ней случилось? Дочка с детства скрытная, и даже она, мать, с детства же не знает, что у нее в душе творится, какие там бури гуляют.

Жаннетта вернулась минут через пятнадцать. Лицо у нее уже было непроницаемое, а в руках она держала маленькую рюмочку и флакон с микстурой.

– Хоть лекарство выпей, – сказала она. – Не все же бедуинскими средствами лечиться.

– Убралась у Иваровских? – спросила Нора, принимая у нее из рук лекарство.

– Убралась, не бойся.

– Не боюсь. – Нора улыбнулась. – А грязь на зиму оставлять нехорошо.

– Нет там никакой грязи, – буркнула Жаннетта. – Откуда ей у них взяться?

Она наполнила рюмочку и дождалась, пока Нора выпьет микстуру.

– Что там в Кофельцах? – поморщившись от горького, спросила Нора. – Все в город перебрались?

Жаннетта кивнула и отошла к буфету, чтобы спрятать в него флакончик. Но не открыла буфет, а, обернувшись, вдруг сказала:

– Царь там. С невестой.

Как-то странно она это сказала. Но Нора так удивилась самому известию, что не обратила на дочкин тон внимания.

– Феденька женится? – ахнула она. – Вот Илье Кирилловичу с Марией Игнатьевной радость!

– Что уж им за радость такая? – хмыкнула Жаннетта. – Можно подумать, Федька старый холостяк! Ему двадцать пять всего.

– У них в семье принято рано жениться, – объяснила Нора. – И правильно.

– Ничего правильного!

– Правильно, правильно, – покачала головой Нора. – По-моему, хорошо, если мужчина до седых волос мальчишкой гуляет?

– Не знаю, – вздохнула Жаннетта. – По-моему, Царю жениться просто глупо. Тем более он в Прагу уезжает. И тем более невеста его вообще черт знает что. Сестрица Аленушка из мультика.

– Но ведь он тебя не любит, Люблюха. – Нора только теперь сообразила, отчего так расстроена ее дочка. – И никогда не любил, и не полюбит уже. Разве ты не знала?

– Знала.

Произнеся это, Жаннетта тоненько вздохнула, словно всхлипнула. Все-таки и стойкость ее, и решительность – все, что Ангелина Константиновна называет Любочкиной жизнеспособностью, не такое в ней глубокое, как думают все, кроме Норы. А что в ней самое глубокое и прочное, этого даже Нора не знает. Родилась у нее девочка-камешек, девочка-загадка, и никому, видно, не разгадать, что в ней есть и откуда.

– Я ложусь спать, – объявила Жаннетта. – И не думай, что я от его женитьбы страдаю! – добавила она уже из-за занавески.

Занавеска отделяла альков, который был ее спальней; Нора жила в той части комнаты, которую они считали общей.

Занавеска была плотная, но Нора все же выключила свет, когда услышала, что дочка улеглась. Вряд ли, конечно, Жан-

нетта уснула, лежит небось с открытыми глазами и переживает и, может, даже плачет. Жалко ее! Но все равно это лучше, чем если бы пришлось ей другими слезами плакать. А так бы оно, конечно, и было, если бы Федя ее любовью воспользовался. Хорошо, что этого и быть не могло: кузнецовскую порядочность ничем не собьешь, и уж не Жаннеттиными фантазиями точно. И слава богу, и пусть дочка чистыми слезами поплачет, а не горькими, как Норе довелось.

Пришел он к ней той же ночью.

Нора поняла, что это он, в ту же секунду, как тоненько звякнуло стекло, к которому он прикоснулся пальцем. Он постучал по оконной раме, и стекло отозвалось, и сердце ее отозвалось тоже – вздрогнуло, взметнулось к горлу и сразу же покатилося в пятки.

Она вскочила, стала зачем-то надевать валенки, один надела, другого в темноте не нашла, побежала к окну в одном, запнулась о сбившийся половик, чуть не упала...

Схватившись обеими руками за оконную раму, Нора прижалась лбом к стеклу.

Прямо перед ее глазами были его глаза – темные земные разломы. И губы его она тоже видела, и ни слова не было на его губах. Он молча смотрел – глаза блестели. Он ждал.

Нора отпрянула от окна. Сердце колотилось теперь во всем теле, и все тело от этого тряслось как в лихорадке. Голова кружилась, и она боялась, что потеряет сознание. Это

было бы совсем стыдно: здоровая девка, тетя Валя говорила, на ней пахать можно...

«Что же я? – вдруг мелькнуло у нее в голове. – Что стою-то? Он же уйдет!»

Она бросилась к двери, на ходу скидывая валенок, который непонятно зачем напялила. Засов как нарочно заело, она чуть не вырвала его из петель, пока сумела отодвинуть. Но тут уж распахнула дверь широко, поспешно и чуть на снег не вылетела, потому что крыльца у флигеля не было, дверь выходила прямо на улицу.

– Куда разлетелась? – Петр Васильевич засмеялся в темноте и подхватил Нору под мышки. – На снег босая! Ну-ка пойдем.

Он завел ее обратно в дом и закрыл дверь. Глухо брякнул засов.

Когда Нора проснулась от стука в окно, то свет не зажгла. Но сейчас она и в темноте видела Петра Васильевича так же ясно, как нынче утром в освещенном солнцем классе.

Только недолго смотрела она сейчас в его глаза – он крепко прижал ее к себе и поцеловал.

Совсем другой был этот поцелуй, чем два прежних, в физкабинете. Те были горячие и веселые, а этот хоть и тоже горячий, но... яростный, вот какой; от него губам стало больно, и Нора вскрикнула.

Она вскрикнула и сразу испугалась: вдруг он на это рассердится, оттолкнет ее? Но на Петра Васильевича ее вскрик

оказал совсем другое воздействие. Он дернулся весь, как от удара, и с губ его сорвался глухой рык, от которого у Норы губы задрожали, потому что их поцелуй при этом не прервался.

– Ох, не могу!..

Петр Васильевич оттолкнул ее от себя быстро и грубо. Нора не поняла, в чем причина. Но прежде чем она успела что-либо сказать, он вскинул ее на руки и понес к кровати.

Комнатка была маленькая, и ему понадобилось сделать всего несколько шагов, и сделал он их мгновенно. Но что она за эти мгновения пережила!

Никто и никогда не держал ее на руках. Ей казалось, что и мама в детстве не держала. Ведь если держала бы, то она запомнила бы это счастье, этот разрывающий душу восторг! И что с того, что был он сейчас так краток? Ей хватило.

Петр Васильевич положил Нору на раскрытую постель, а сам стал расстегивать пуговицы на своих брюках и на полушубке. Но терпения на все это у него не хватило – он рванул полы полушубка, а потом и рубашки, пуговицы брызнули по углам, и сразу же Нора почувствовала на себе его тело, голое, горячее.

Ей стало страшно.

«Что же это я? Как же?.. Зачем?!» – пронеслось у нее в голове.

Во всем она была обычная деревенская девчонка, но вот в этом... Как ни старалась, Нора не могла относиться к это-

му попросту, как все. Не то чтобы задумывалась излишне, а просто... Просто ей было противно. Как позволить, чтобы тебя лапали, дышали в лицо перегаром, как не раз пытались взрослые мужики, или пусть даже обнимали, как порывались ее обнять молодые парни, — как позволить им все это, если они тебе чужие и ничто в тебе не отзывается на их желание?

Но ведь сейчас, ведь с ним все совсем по-другому? Или все-таки нет? Нора не знала.

Чтобы понять это, она зажмурилась. И сразу ей вспомнился его голос... Не теперешний, обычный, которым он произнес «ох, не могу», а тот, которым пел про ветер за занавесочкой и про разлуку двенадцатого часа. И тут уж все мысли выветрились у нее из головы, все сомнения улетучились, и, обхватив Петра Васильевича руками за шею, Нора полностью отдалась на его волю.

А воля его была сильна! И сильным было его тело. Упершись локтями в подушку, он коленями рванул, раздвинул ее ноги. Ночная сорочка сама собою задралась от этого, и ничто уж больше не мешало тому, чтобы Нора стала его, вся его, и сама она этому не мешала, а не то что сорочка.

Ей стало больно. Она закусила губы и запрокинула голову назад, за сбившуюся в ком подушку. Шея ее при этом выгнулась, и Петр Васильевич сразу стал целовать ее в шею, а потому ее закусенных губ не заметил.

Да хоть бы и заметил — что уж он мог бы с собою поделаться? Весь он уже бился у Норы между ног, и если она и сама

не понимала, больно ей или сладко, то ему наверняка было сладко, и только, без всяких сомнений. Он хрипел, и стонал, и упирался в ее плечи ладонями, и сжимал их до новой сильной боли, все новой и новой, которой она отдавалась то ли с привычной безропотностью, то ли с непривычной для себя страстью.

Да, сладко ему было – Нора не ошиблась.

– Сладкая ты моя! – вырвалось у него.

Она не поняла, что он вложил в этот возглас, какое чувство, но решила, что все-таки нежность. Ведь он не был с нею груб – был, пожалуй, даже ласков, так, как может быть ласков мужчина. Как-то... для себя ласков, но заодно и для нее все же. Нора, конечно, не знала, какая бывает мужская ласка, но когда эта ласка обратилась на нее, то сразу же ее угадала.

Только боль-то все равно разрывала ее изнутри, и скрыть эту боль было так же трудно, как кровь, льющуюся на простыню. Она чувствовала, что кровь не сочтется даже, а именно что льется, хлупает у нее между ног.

«Ему противно, может?» – подумала Нора.

Но уж этого она наверняка знать не могла – все ее догадки на его счет были только догадками, а реальностью было мужское тело, которое вбивалось в нее короткими, сильными ударами.

Последний его удар, самый сильный, она еле выдержала, и опять непонятно, что ее при этом охватило, только боль

или что-то еще.

Петр Васильевич упал головою на ее плечо и замер. Он лежал так минуту, две... Нора не решалась пошевелиться, хотя задыхалась под ним: его тело и так было тяжелым, а теперь, когда все кончилось, стало таким, что ей показалось, будто ее завалило землею в шахте.

Наконец он поднял голову. Глаза у него были виноватые, как у ребенка. Нежность к нему сразу же залила ее сердце.

– Ах ты, люблюха моя, – проговорил он. – Надо же, как на тебя потянуло!

Что он назвал ее так необычно и что добавил «моя», было Норе приятно. Ведь, значит, не случайно для него то, что между ними сейчас произошло? Для нее это было неслучайным и ошеломляющим.

– Всю постель замарали, – сказал он. – Эх, девка! Нехорошо вышло.

– Я стираю! – торопливо заверила она.

– Да я не о том. Нехорошо, что мужа не дождалась.

– У меня мужа нету, – растерянно проговорила Нора.

– Вот именно. Ну, что уж теперь. Может, оно для тебя и лучше. Хоть полюбишься всласть.

Он говорил просто, как все в деревне говорили, и такой странной казалась Норе эта простота, когда она вспоминала, как он пел арию из «Пиковой дамы»... Но она чувствовала, что то его пение и эта грубоватая речь – одно, общее, что из того и другого он состоит в равной мере, и этого не разде-

лить, и не отделить от этого его мужскую силу, из-за которой до сих пор вспыхивает в ней боль, не отделить и страсть его, и волю.

Он перекатился на бок, тяжело и вольно, лег рядом с Норой и сразу же обнял ее.

– Ты не думай, что мне дурь в голову ударила, – сказал Петр Васильевич. – То есть в голову-то ударило сильно, это так. Но ты мне сразу понравилась. Как увидел тебя, прямо сердце зашло. Сама тоненькая, пробор ниточкой, волосы на щеки – волнами темными... Красота-то, думаю, какая невиданная!

Вот это была неожиданность! Что он пришел к ней ночью, что захотел ее и взял, это было в общем-то понятно: мужчина есть мужчина, по-другому у него и быть не может, наверное. Но что он назвал ее красотой невиданной... От этих его слов у Нору и у самой зашло сердце.

– Ну-ну! – Он погладил ее по плечу. – Что покраснелась?

– Я ничего, – пробормотала она. И не выдержала, спросила: – А как вы увидели, что покраснелась? Темно же.

Он засмеялся. И смех у него был такой же, как пение, – та же грубоватая задушевность была в нем.

– Темно! Так ведь глаз у меня зоркий, – объяснил Петр Васильевич, отсмеявшись. – Казацкий.

– Разве вы казак? – удивилась Нора.

– Донской казак и есть. А чему удивляешься? Не похож?

– Не знаю. Я донских казаков не видала. А только глаза у

вас наши, сибирские, наискось чуть-чуть. И лицо скуластое.

— Ну так кровей в нас, донских-то, много понамешано, — усмехнулся Петр Васильевич. — В степях наших кто только не кочевал, и в походы казаки куда только не ходили, чьих только женщин не любили. Вот и глаза тебе, и скулы. А ты местная? — спросил он.

— Сама не знаю, — ответила Нора.

— Как это? — не понял он.

— Да вот так. Подкидыш. Меня один моряк из плавания привез и у сестры своей оставил. Она местная. Техничкой в школе работала, померла уже.

— Вот оно как... — протянул Петр Васильевич. — Ты сирота, значит?

Нора кивнула и спросила:

— А вы давно в Сибирь приехали?

— Три года назад. Сначала на стройку завербовался, ду-мал, годик поработаю, и домой. А потом еще на год остался, и еще. Приморозился я к Сибири! Хорошо тут у вас. Из баньки выскочишь, в снежок завернешься... Ты чего улыбаешься? — заметил он.

— Говорите вы... Необычно так! Очень слова у вас приметные. А что же на стройку пошли? Вы же учитель.

— Заскучал. Плечи размять захотелось. Без этого мужику никак, — объяснил он. — Намахался на стройке, теперь вот снова в школе буду работать. — И, подмигнув, спросил: — Примешь меня?

Нора поспешно кивнула. Она не очень поняла, что означают эти слова: то ли он интересуется, примет ли она его на работу, и тогда это шутка, конечно, то ли о другом его вопрос... Впрочем, он сразу ее сомнения развеял.

– Жилье меня сюда привлекло, – сказал Петр Васильевич. – Надоело по баракам маяться. А тут квартиру дают в доме для специалистов, большое дело.

Три двухэтажных дома из белого силикатного кирпича построили в Каменке полгода назад. Квартиры в них были совсем как городские, их выделили работникам колхозного правления, агроному, ветеринару и кому-то еще; кому именно, Нора не интересовалась – ей-то какое дело? Значит, и он будет жить в одном из этих домов, а совсем не с нею, как ей на минуту почудилось.

Что мелькнуло при этой мысли в ее сердце, Нора понять не успела. Петр Васильевич притянул ее к себе, ласково поцеловал и сказал:

– Ну, пойду. Ты давай справляйся тут. Прости, если что не так.

Нежность, с которой он поцеловал ее, была безусловной, такой, которую ни с чем не перепутаешь. И таким же был голос, все его глубокие тона. Но как же не соединялось все это со смыслом произнесенных им небрежных слов! Это несоединение, несочетание было почти мучительным.

Но только почти: все же Нора привыкла, что она на белом свете одна, что от жизни не стоит ждать никаких подарков

и до сердца допускать никого не стоит, потому что от этого может быть только боль, а если тяжесть жизни саму по себе выдержать еще можно, то с болью в сердце – никак.

Она сдержала вздох и встала с кровати вместе с Петром Васильевичем. Пока он одевался, Нора сжимала ногами ночную сорочку. Может, и правда он в темноте видит, и неловко же, если потянется за ней по полу дорожка из кровавых капель.

У двери он снова поцеловал ее, и снова с нежностью – особенной, ненадежной, мужской; Нора уже понимала, что это такое, она вообще была понятлива.

За то недолгое время, что он провел у нее, на улице завьюжило. Снег ударил ей в лицо, как только она открыла дверь, и Петр Васильевич исчез в снежной заверти мгновенно, едва за порог шагнул.

А Нора вернулась в дом и поставила греть воду, чтобы помыться и выстирать простыню с сорочкой.

Глава 7

Стояли на балконе, курили, пили шампанское и смеялись, глядя, как в рассветных лучах целуются у аптеки на углу девчонка с мальчишкой чуть не детсадовского возраста, и требовали, чтобы Царь тоже немедленно поцеловал Варю, потому что чем вы хуже каких-то малолеток. Свадьба уже была на излете, но веселье еще не перешло в похмелье.

Федор требованиям друзей не противился: обнимал, целовал молодую свою жену, и ее льняные пряди – фату Варя давно сняла – путались при этом в его пальцах.

Люба еле сдерживала злые слезы, глядя на это, а Александра, наоборот, наблюдала за всем происходящим с живейшим интересом. Наверное, запоминала, что это такое, когда женится парень, которого ты считала влюбленным в тебя, и прикидывала, как этот новый опыт перелить в песни. Люба понимала Сашкину артистическую натуру как свои пять пальцев и завидовала невыносимо – все ей не на муку, а на пользу!

Сашка, по ее наблюдениям, приложила немало усилий, чтобы выглядеть на свадьбе гораздо эффектнее, чем невеста, и усилия эти не пропали даром. Платье на ней было очень простого и безупречного, точно по фигуре покроя, по черной ткани еле заметно пробегали серебряные искры, и Сашка – высокая, стройная – казалась в этом наряде просто волшеб-

ной драгоценностью. И когда только это платье у нее появилось? Люба видела его впервые, а ведь Сашка советовалась с ней по поводу всех своих нарядов.

На шее, на черной бархотке, висело у нее маленькое, как овальная монетка, зеркальце в тонкой серебряной оправе. Оно то отражало чьи-нибудь лица, чем придавало Сашкиному облику ошеломляющую странность, то ловило разнообразные лучи и стреляло световой россыпью. В общем, Варя ей в подметки не годилась, это было очевидно и доставляло Сашке явное удовольствие.

А Люба на такое удовольствие рассчитывать не могла. Сашкино отношение к жизни, ее самовлюбленная снисходительность, ее талант, который все перекрывает, – это ведь или есть у человека, или нету. У Любы – не было. Вот и смотри, как твой с детских лет любимый целуется с другой, и скрипи зубами от злого отчаяния.

Ну, зубами Люба, конечно, не скрипела. И платье на ней было не хуже, чем Сашкино, она его специально к свадьбе сшила из синего шелка и вручную расписала по декольте и недлинному подолу таким разноцветным перистым рисунком, что все только и всматривались в ее грудь и колени – видимо, чтобы рисунок этот получше разглядеть.

– Любка, нам с тобой эта ангельская птаха в подметки не годится. – Сашка ткнула ее локтем в бок. – Федька с этой цыпочкой скоро разведется, вот увидишь, она же пресная, как аптечная вода. Платье у тебя – упасть, и ты посмотри, нет,

ты только глянь, как вон тот мужик на твою грудь пялится! Он кто, не знаешь?

Люба проследила за Сашкиным взглядом и только плечами пожала. Она понятия не имела, что за мужик стоит в комнате у выхода на балкон, с интересом глядя на веселящуюся молодежь. Судя по благородной седине, это какой-нибудь друг Федькиных родителей или их родственник, только дальний, потому что близких Люба всех знала, да и не так уж много их было. Ну да, этот приезжий, конечно: вид у него не московский. Правда, и ничего провинциального в нем тоже не наблюдается, даже наоборот, внешность какая-то иностранная.

– Будьте добры, принесите мне шампанское, оно вон там, на журнальном столике.

Голос Александры пролился серебром, и глаза сверкнули похлеще зеркальной россыпи, когда она обратилась к привлечшему ее внимание товарищу. Что с того, что он, по ее же собственным наблюдениям, пялился на Любу? Сашка не была бы собой, если бы это имело для нее значение. Впрочем, и для Любы это значения не имело. Что ей до какого-то постороннего мужика, которого заинтересовала ее грудь?

– О, с удовольствием!

Он улыбнулся приятной европейской улыбкой, шагнул обратно в комнату и сразу же снова появился в проеме балконной двери, уже с бутылкой шампанского в руке.

– Благодарю вас.

Александра мило склонила голову и, взмахнув ресницами, подставила бокал. Шампанское тут же зашипело – иностранец правильно понял свою задачу и ее бокал наполнил.

Понятно, что Сашка решила свести с ума очередную мужскую особь. Люба наблюдала этот процесс неоднократно, и он ее ничуть не интересовал. Тем более что Федор, закончив целовать свою жену, ласково провел ладонью по Вариной покрасневшей щеке, задержал руку у краешка ее губ.

Рука у него была широкая, тяжелая, и в обрамлении этой тяжести, мужской этой силы особенно заметна была нежность прикосновения. Люба глаз не могла отвести от его руки, лежащей на Вариной щеке. Ей казалось, что жизнь ее кончена, и жизни своей было ей не жалко.

– Все-таки хорошо, что Царь на этой девице женился.

Кира шепнула это Любе прямо в ухо. Голос у нее был командный, поэтому даже от шепота Люба вздрогнула и потеряла ухо.

– Что хорошего? – хмыкнула она.

– А то, что жениться надо на совершенно посторонних людях, – с обычным своим авторитетным видом заявила Кира. – Я, например, представить себя замужем за Федькой не могу. Мы же с ним практически в одной коляске спали. И после этого в одной постели спать? Нонсенс.

Да уж, представить Киру замужем за Федором было трудновато. Это показалось Любе до того нелепым, что она даже улыбнулась, хотя ей было совсем не до смеха.

– Так что не переживай, Люб, – заключила Кира. – Ничего у тебя с ним все равно не получилось бы. И вообще Федька для тебя, мне кажется, не человек, а волшебный образ.

И все-то они про нее знали, и все-то лезли к ней с утешениями! Ладно еще Сашка, но даже Кира, которая в любви понимает не больше, чем Люба в метафорах каких-нибудь!

От их дурацких утешений Люба так рассердилась, что даже про свою печаль по поводу Федькиной женитьбы отчасти забыла. Она отвернулась от милующихся молодоженов так резко, что толкнула Киру. Та, вместо того чтобы обидеться, сочувственно вздохнула и посторонилась, пропуская Любу с балкона в комнату.

Почти всю большую гостиную кузнецовской квартиры занимал свадебный стол. Вид у него был уже не праздничный, а утренний, бестолковый, да и гости уже разошлись. Кроме лучших друзей – они-то и стояли сейчас там, на балконе, любясь поцелуями счастливой парочки.

Люба отыскала на столе более-менее чистый бокал и доверху налила в него водки из чудом не опустошенной, хотя и откупоренной бутылки.

«Все равно сейчас домой, – подумала она. – Вот и выпью, и усну как убитая».

Слова «как убитая», впрочем, и без водки характеризовали ее состояние наилучшим образом.

– Это не водка, а только вода, – услышала Люба.

Как раз в этот момент она поднесла бокал ко рту. От

неожиданности рука у нее дрогнула, и водка пролилась в другую руку, которую она успела подставить горсточкой.

– Почему вода? – удивленно спросила Люба.

– Я налил в эту бутылку воду для себя, потому что, к моему сожалению, не могу пить водку.

Разъяснения давал тот самый мужчина с благородной внешностью, которого только что увела обольщать Александра. Самой Сашки в комнате уже не было, а он стоял напротив через стол и смотрел на Любу с той приятной учтивостью, которую она с первого взгляда отметила в нем. Говорил он с акцентом, значит, и в его иностранном происхождении она тоже не ошиблась.

– Я не мог пить водку из-за моей нездоровой почки, – снова объяснил он. – Но не хотел, чтобы все обратили на это внимание. Потому что у вас это считают ненормально, если я не пью, и все этим интересуются. Я правильно понял?

– Может быть, – пожала плечами Люба. – Но вам-то что? Пусть считают что хотят.

– Но мне просто не хотелось отвлекать на себя внимание во время свадьбы и вызывать... как это? Недоразумение?

Люба быстро лизнула свою ладонь. В самом деле вода. Надо же, какой деликатный гражданин.

– Никакого недоразумения, – успокоила его она. – И недоразумения тоже никакого. Не берите в голову.

– Что это значит? – с интересом спросил он. – Не надо наливать в голову водку?

Любе стало смешно, и она улыбнулась. Очень уж он был трогательный с этим живым интересом ко всякой ерунде и с открытой доброжелательностью во взгляде.

– Это значит, что не надо обращать ни на кого внимания, – объяснила она.

– Меня зовут Бернхард Менцель, – сказал он.

Люба не поняла, что здесь имя, а что фамилия. Или, может, у него два имени? У иностранцев вроде бы принято. Но уточнять она не стала. Не все ли равно?

Поневоле пришлось представиться и самой.

– Меня – Люба Маланина, – сказала она.

– Люба – это означает любовь? – спросил он.

– Ничего это не означает, – отрезала Люба.

– А мне сказали, что есть русское имя, которое означает любовь.

– Есть такое имя, – вздохнула Люба. – Только... Ну, неважно. Любовь так любовь.

Не разъяснять же ему про Жаннетту с двумя «н» и двумя «т». Проще согласиться.

– Вы подруга жениха или невесты? – уточнил Бернхард Менцель.

Для него в отличие от Любы имели значение, похоже, все подробности без разбора.

– Жениха, – буркнула Люба.

– А я коллега господина Кузнецова. Не жениха, а его отца. Получилось какое-то недоразумение с моим отцом, и Илья

пригласил меня жить сегодня у него и, может быть, завтра тоже. И поэтому я попал на свадьбу его сына.

Это было вполне в кузнецовском духе, зазвать к себе жить человека, проблемы которого лично к тебе не имеют никакого отношения, да еще зазвать в самый неподходящий момент, когда в доме и так все вверх дном.

– Я постараюсь найти для вас водку, – сказал Бернхард Менцель.

– Не надо, – вздохнула Люба.

– Но ведь вы хотели ее выпить.

– Не очень хотела. Так. Дурость накатила. Подумала, пока домой дойду, как раз опьянею и сразу засну.

– Вы живете рядом? – в очередной раз уточнил он. – И уже идете домой?

Вообще-то Люба терпеть не могла занудства, особенно в мужчинах. Но то, что звучало в голосе этого Бернхарда Менцеля, занудством почему-то не казалось, хотя вроде бы именно им и было. Наверное, все дело было в открытой доброжелательности, с которой он смотрел на нее и которую она заметила в нем сразу, как главное, что можно было в нем заметить.

– Да, – кивнула она.

– Вы разрешите мне вас проводить?

В его голосе и взгляде при этом вопросе мелькнула робость.

– Зачем? – удивилась Люба. – Я не заблужусь.

– Я слышал, в Москве опасно на улицах.

Люба невольно улыбнулась серьезности его тона.

– Во-первых, ничего особенного, – сказала она. – А во-вторых, если бы и опасно, так вы что, мастер боевых искусств?

– О нет! – Он улыбнулся. – Но все-таки мне кажется, что вдвоем пойти на улицу надежнее, чем одной. И к тому же Москва мне кажется утром очень красивая, и я хочу на нее смотреть.

– Ну пойдете, раз так, – пожала плечами Люба. – Только Москву вы со мной не посмотрите, я в соседнем подъезде живу.

На душе у нее было так тошно, что лень было даже отбояриваться от постороннего и ненужного внимания.

– Вы точно не хотите водки? – уточнил напоследок Бернхард Менцель.

– Точно, – вздохнула Люба.

Все-таки он надоел ей своей дотошностью. Но куда теперь деваться? Пускай провожает.

Глава 8

– В этом доме есть эклектика. Я думаю, его строили не сразу до конца, а несколько раз.

– Вы архитектор? – без интереса спросила Люба.

– Я врач.

«Ну да, Федькиного отца коллега», – вспомнила она.

– Но я много занимался своим домом, – пояснил он.

– Строили?

– Это была реставрация.

«Во дворце, что ли, живет?» – подумала Люба.

Но расспрашивать не стала. Ей-то какая разница? К тому же они уже подошли к ее подъезду. Дом у них был угловой, к Царю и Кире надо было входить с Малой Бронной, а к Любе и Сашке со Спиридоньевского переулка.

– Спасибо, что проводили, – сказала она, взявшись за ручку подъездной двери. – Мне сюда.

– Вы уже пришли домой?

Он расстроился так неподдельно, что это тронуло даже Любу.

«Никто и не заметил, что я ушла, не то чтобы расстроиться, – подумала она. – А у этого, смотри ты, прямо горе».

– Ну да, – кивнула она. – Я же вам говорила, что мне в соседний подъезд.

– Я не очень верно понимаю по-русски, – вздохнул он.

– А вы сами откуда? – спросила Люба.

Не то чтобы ее равнодушие к Бернхарду Менцелю сделалось меньше, но ей почему-то стало неловко демонстрировать свое равнодушие так откровенно.

– Я живу в Германии. В Шварцвальде. Вы знаете про него?

– Откуда мне знать?

– У нас в Шварцвальде умер писатель Чехов. В городе Баденвайлер. Поэтому я думал, что вы могли слышать.

«Где я, где Чехов», – подумала Люба.

Но все же ей не хотелось, чтобы этот немец счел ее какой-то мешанкой, которой нет дела ни до чего, кроме водки и закуски.

– Я, конечно, слышала, что Чехов умер, – улыбнулась Люба.

Бернхард Менцель сразу же улыбнулся в ответ.

– У вас хороший юмор, – сказал он.

– Но про Шварцвальд ничего не знаю, – отрезала она.

– Я могу вам рассказать, – поспешно произнес Бернхард Менцель. – Мы можем выпить вместе кофе и поговорить об этом.

– Зачем? – пожала плечами Люба.

– Но разве у вас нужна причина? – удивился он. – Для того чтобы поговорить?

– У нас – это где?

– В России. У вас в России нужна особенная причина для

того, чтобы люди могли посидеть за чашкой кофе?

– А в Германии не нужна?

Ей все-таки стало интересно.

– Совсем нет, – улыбнулся Бернхард Менцель. – Но мне кажется, я понял, почему вы спрашиваете. Мне рассказывал мой приятель из Восточной Германии, он ездил в Россию, когда это был Советский Союз. Он рассказывал, что люди боялись поговорить с другим человеком, если не знали его хорошо. Наверное, они боялись, что он... как это... доноситель?

– Доносчик, – поправила Люба. – Но вообще-то не обязательно поэтому.

– Тогда почему? Почему нельзя просто провести с незнакомым человеком половину часа, выпить с ним вместе кофе или пиво?

– Ну-у...

Люба вдруг поняла, что совершенно не может объяснить, почему общение с незнакомым человеком сразу делает его знакомым, а значит, обязывает к дальнейшему общению, которого, может быть, совсем и не захочется. Вдобавок мелькнула в голове глупая фразочка: «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует». Интересно, к чашке кофе это тоже относится? Она почувствовала себя круглой душой.

– Пива у меня нет. – Чтобы избавиться от неприятного ощущения собственной глупости, она засмеялась. – Но кофе мы с вами вполне можем выпить.

– Вы покажете, где здесь есть кафе? – оживился он.

– Нигде здесь нет кафе, – усмехнулась Люба.

Кое-какие кафе в окрестностях уже, конечно, были – появились в перестройку. Но чтобы хоть одно из них было открыто в шесть утра, не стоило и мечтать.

– Но тогда где же... – начал Бернхард Менцель.

– Кофе будем пить у меня дома.

– О! – воскликнул он. – Это будет мне очень неловко!

– Почему? Сами же удивлялись, почему нельзя за чашкой кофе посидеть.

– Но домой... О, это слишком беспокожно для вас!

– Странные вы люди, – пожала плечами Люба. – То вроде без комплексов, то из-за ерунды церемонничаете.

– Я не хотел принуждать вас, чтобы вы приглашали меня к себе домой. – Он сокрушенно покачал головой. – Это не ерунда.

Вместо ответа Люба распахнула дверь и выжидающе взглянула на Бернхарда Менцеля. Он благодарно кивнул.

– Только лифт сломался, – предупредила она, когда вошли в подъезд. – Нам на пятый этаж.

– Это ничего. Я много хожу пешком у себя дома.

– Тоже лифт ломается?

– Нет, я хожу по прямой земле. Или по горам. Там, где стоит мой дом. И еще еду на велосипеде через лес.

Все это он рассказывал, пока поднимались по лестнице. Шаги гулко отдавались под высоким потолком.

– Да, теперь я уверен, что ваш дом строили несколько раз, – сказал Бернхард Менцель, когда дошли до пятого этажа. – Вон там, вы замечаете? Лестница на следующий этаж отличается от тех, которые мы прошли.

– Ну да, сначала этажей меньше было, – кивнула Люба, останавливаясь перед своей дверью. – Только очень давно, я не родилась еще. Этот дом в двадцать седьмом году построили. Возле подъезда табличка висит, видели? Дом сотрудников Госстраха. На крыше тогда солярий был и розарий даже.

Про солярий и розарий на мемориальной табличке написано не было, про них рассказывала Кирина бабушка, которую выгуливала на этой крыше няня, пока ее отец трудился в Госстрахе.

Тенета были, наверное, самыми старинными жильцами дома на углу Малой Бронной и Спиридоньевского. Ангелина Константиновна утверждала, что в их квартире живет домовой, который чудом уцелел с первоначальных времен. Все дети боялись домового, даже, кажется, Федор Ильич, а Люба не боялась, потому что в него не верила.

Ее мир с самого детства был внятен и, как та же Ангелина Константиновна говорила, стоял на твердых основах.

Она открыла дверь квартиры и пригласила:

– Проходите, только тихо. Вон туда, в кухню. В комнате мама спит.

– Но зачем вы, Люба!.. – шепотом воскликнул Бернхард Менцель и отшатнулся от порога. – Зачем так неудобно для

вашей мамы?

– Проходите, раз зову. – Она взяла его за руку и почти втащила с лестничной площадки. – Между кухней и комнатой коридор еще, а стены у нас тут такие, что хоть песни пой.

В квартиру Бернхард Менцель вошел на цыпочках. Его виноватый вид усугублялся тем, что он со своим немаленьким ростом заполнил всю кухню, очень как раз таки маленькую.

Когда пять лет назад жильцы дружно взялись превращать коммуналки в отдельные квартиры, Любина мама в этом многосложном процессе не участвовала: не из тех она была, кто умеет чего-то для себя добиться, и даже не из тех, кто этого хотя бы хочет. Но ведь не мог же произойти такой абсурд, чтобы у всех жильцов получились отдельные квартиры, а у нее одной осталась коммунальная. Так что все образовалось и без маминого желания, просто по логике вещей. Правда, кухня в доставшейся им с Любой квартире выгорела такая, что два человека помещались в ней с трудом, да и то если один сидел, а другой стоял. Но тут уж удивляться не приходилось: без житейского напора получить хоромы – это было бы уже за гранью всякой логики.

– Вот сюда садитесь, – распорядилась Люба, указывая на табуретку в углу у стола. – И начинайте кофе молоть.

Бернхард Менцель уселся на указанную табуретку и принял у нее из рук металлическую трубку – грузинскую кофейную мельницу, которую лет пятнадцать назад подарили ма-

ме Иваровские. У мамы с юности было низкое давление, и кофе она пила не столько по пристрастию, сколько по необходимости.

– Вы мелите, – сказала Люба, – и рассказывайте. А я воду поставлю кипятиться.

– Но что я должен рассказать?

– Ну, вы же про Шварцвальд хотели? Про него и рассказывайте. У вас там лес и горы, я так поняла?

– Да, – кивнул он. – Шварцвальд по-русски будет Черный Лес. Мой дом стоит на горе, и течет вода, и это очень красивый ручей, почти река. И есть косули. Они приходят из леса прямо к моему дому.

Бернхард Менцель крутил металлическую трубку – он сразу, без объяснений, разобрался, как с нею обходиться, – и смотрел на Любу. Кухню заполнял запах свежесмолотого кофе, и это каким-то необъяснимым образом соединялось, а вернее, совпадало с его рассказом про дом на горе и про лесных косуль, и даже шум воды, закипающей в медной турке, напоминал шум ручья.

– Но ведь вы врач. Кого же вы в лесу лечите? – спросила Люба. – Косуль?

Ей почему-то стало не по себе от идилличности происходящего – не в шварцвальдском лесу, а здесь, у нее в кухне. Неловко ей было чувствовать на себе взгляд Бернхарда Менцеля, хотя и непонятно, в чем тут неловкость.

– О, конечно, не косуль. Ведь я не ветеринарный врач, –

ответил он. – Но я сорок минут еду до Фрайбурга, и там находится моя клиника. Это город, в котором есть университет, очень старый в Германии. Илья Кузнецов не один раз приезжал туда в командировку, он знает.

При упоминании этой фамилии Любе сразу же вспомнилось все, что ненадолго заслонило в ее сознании Бернхардом Менцелем, – свадьба, поцелуй под крики «горько!», большая Федорова ладонь на Вариной нежной щеке, – и все неловкости, все неясности, которые она только что чувствовала в разговоре с этим вежливым немцем, сменились другим чувством, очень даже ясным: досадой.

Как глупо, как бессмысленно закончился большущий кусок ее жизни! И, главное, как ей жить дальше, вот же что непонятно.

«А как захочу, так и буду! – с этой сильной, ясной досадой подумала она. – Ни на кого больше оглядываться не стану. У всех своя жизнь, ну и у меня своя будет».

Только теперь она поняла: до сих пор ее жизнь так была осенена жизнями чужими, что, можно считать, полностью из них состояла. Федина покровительствующая сила, Сашкина красота и талант, Кирина ученая бестолковость, насмешливая мудрость Ангелины Константиновны Тенеты, снисходительная забота Кузнецовых и Иваровских – вот что такое была ее жизнь. И даже когда она шила, например, сногсшибательный наряд для какой-нибудь театральной знаменитости, даже тогда все это стояло за нею, и каждый стежок, кото-

рый она делала, определялся теми представлениями о красоте, вкусе и правильном порядке, которые она усвоила в этом плотном облаке чужих жизней.

А теперь это должно закончиться. Теперь жизнь у нее будет своя. И хорошо, что Федор женился, – ей нужен был очень сильный удар разочарования, чтобы осознать свою ото всех отдельность.

– Что с вами, Люба? – спросил Бернхард Менцель. – У вас произошло нехорошее?

Его голос прозвучал без малейшего оттенка любопытства, но с такой тревогой и с таким искренним сочувствием, что Люба удивилась. С чего бы ему о ней тревожиться, если час назад они знать друг друга не знали? Да и сейчас не знают, собственно.

Но он говорил именно так, как говорил; в его сочувствии невозможно было ошибиться.

– Ничего у меня не произошло. – Люба сама расслышала, как предательски дрогнул ее голос, словно возражая смыслу произносимых слов. И, всхлипнув, повторила: – Н-ничего...

Но тут в носу у нее защипало, и слезы, неожиданные, в самом деле предательские слезы как по трубам поднялись откуда-то из живота, и сразу же перелились через края этих труб, и хлынули вниз, по щекам, по губам, по подбородку. Не могла она их сдерживать, вот ведь странность какая! Никогда с ней такого не было.

Можно было ожидать, что при виде ее бурных и совер-

шенно неожиданных рыданий Бернхард Менцель всполошится, растеряется, начнет бестолково метаться, хотя где тут метаться-то, кухня с пятачок...

Но ничего подобного он делать не стал.

Он поднялся с табуретки, взял за руку стоящую у плиты Любу, благо для этого ему ни шагу сделать не пришлось, и, притянув к себе, поцеловал.

Это было так неожиданно, что она даже плакать перестала.

Он был совсем отдельный от нее, он был из совершенно другого мира, и не потому что из Германии, а потому что не имел с нею ни единой точки соприкосновения – ничто их не соединяло, ничто!

Но в его поцелуе не было ничего для нее чужого и чуждого. Его поцелуй утешал, успокаивал и... И еще он нес в себе что-то почти знакомое – почти то же, что до сих пор связывалось в Любином сознании только с Федором.

Это было физическое возбуждение. Не такое, от которого у нее взрывалось все тело и темнело в глазах, – именно так это бывало, стоило ей только посмотреть на Федора. Нет, сейчас все, конечно, было не так... Но было же! Люба почувствовала, как внутри у нее разливается что-то горячее, течет по всем жилам, приливает к голове и к губам тоже приливает, и от этого поцелуй становится таким сладким, что хоть не прерывайся он никогда.

Бернхард Менцель прижал ее к себе чуть покрепче – осто-

рожно прижал, словно спрашивая: можно ли? Да, – сказала она ответным движением, которого он не мог не почувствовать. Он и почувствовал – прижал ее к себе совсем крепко и стал покрывать короткими сильными поцелуями ее лицо и шею. Возбуждение, которое при первом его прикосновении она лишь едва почувствовала, сразу же сделалось острее, резче.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.